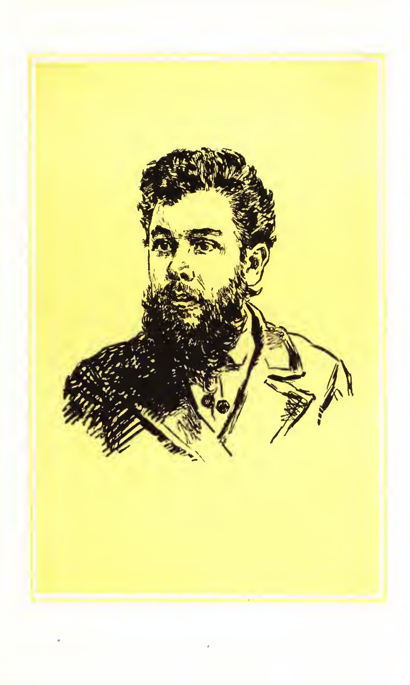


СЕМЬЯ ЗАЛОМОВЫХ


A. D.



СЕМЬЯ ЗАЛОМОВЫХ



Сборник
воспоминаний и документов

Издательство ЦК ВЛКСМ
«Молодая гвардия»
1 9 5 6

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Авторы этой книги — члены одиой русской рабочей семьи, семьи Заломовых. Семья эта уже давио привлекла к себе широкий иитерес, н с каждым годом нзвестность ее все ширится н в нашей стране и за рубежом. Иитерес этот объясняется тем, что два представителя этой семьи — Аниа Кирилловна Заломова и ее сын Петр Андреевич Заломов явились прообразами героев всесветио нзвестной горьковской повести «Мать». Пелагея Ниловиа и ее сын Павел Власов написаны М. Горькнм, по его собственным свидетельствам, с ннх.

Но раскрываемая чнтателем кинга прнмечательиа не только этим. Ceитральное место в ней прииадлежит «Воспоминаниям» Петра Андреевнча Заломова, материалы «Приложеиий» характернзуют в осиовиом его же. Рассказ Петра Андреевича Заломова о себе представляет самостоятельиую ценность. Перед иами нстория роста самосознання русского рабочего конца прошлого — начала иынешиего века, нстория страстиых н напряжениых поисков жизни цельиой н осмысленной. Как выразился в своих воспоминаниях Иван Васильевнч Бабушкин, это «история своего превращения из самого заурядиого «чнслнтельного» молодого человека без строгнх взглядов н убеждеиий в человека-социалиста».

«Воспомииання» не охватывают всей жизнн П. А. Заломова. Оии дополняются рассказом его младшей сестры, письмами и другимн матерналамн, включеииымн в сборник *. И жизнь Заломова целиком встает перед нами. Начавшись революциониой борьбой

---

* «Воспоминаиия» Петра Андреевича Заломова отдельиым издаиием выходили дважды: в Курске (1939) н Горьком (1947). В иастоящем сборннке «Воспомииаиня» печатаются по книге, вышедшей в Горьком, ио с восстаиовлеиием в иекоторых местах текста первого издания и отдельными редакторскнми уточиениями. Рассказ Аины Кирилловны Заломовой, матери П. А. Заломова, печатается по сводному тексту записи ее выступлеиий перед рабочими завода «Севкабель» и табачной фабрики нмеии Урицкого в Леиинграде в 1935 году с включеинем эпизода, опубликоваииого в журнале «Работнница» № 2, 1939 год. Воспомииаиия Варвары

в Нижнем Новгороде, она продолжается побегом из ссылки, петербургским подпольем, на баррикадах 1905 года на Пресне. В годы реакции продолжается она в Судже, продолжается за гранью Октября. И перед нами словно из своеобразной мозаики возникает тот Человек с большой буквы, которого — как тип — так любил и так воспел Горький: натура цельная и непоколебимая, рыцарь социалистической революции, человек, будто кованный из одного куска.

В своей статье-некрологе, посвященной памяти Ивана Васильевича Бабушкина, Владимир Ильич Ленин в 1910 году указывал на существование *народных героев русской революции.* «...такие народные герои, — писал он, — есть. Это — люди, подобные Бабушкину. Это — люди, которые не год и не два, а целые 10 лет перед революцией посвятили себя целиком борьбе за освобождение рабочего класса. Это — люди, которые не растратили себя на бесполезные террористические предприятия одиночек, а действовали упорно, неуклонно среди пролетарских масс, помогая развитию *их* сознания, *их* организации, *их* революционной самодеятельности. Это — люди, которые встали во главе вооруженной массовой борьбы против царского самодержавия, когда кризис наступил, когда революция разразилась, когда миллионы и миллионы пришли в движение...

Без таких людей русский народ остался бы навсегда народом рабов, народом холопов. С такими людьми русский народ завоюет себе полное освобождение от всякой эксплуатации».

Петр Андреевич Заломов принадлежит к людям именно этого склада.

Читатель найдет в книге, в разделе «Приложения», ряд материалов «Искры», посвященных первомайской демонстрации 1902 года в Сормове и последующему суду над участниками ее, рабочими-сормовичами, и увидит, как сразу разглядела героическую сущность Петра Заломова ленинская большевистская партия, как сразу и как высоко она оценила его подвиг на демонстрации 1902 года в Сормове.

М. Горький шел вослед партийной ленинской оценке деятельности таких людей. Горьковские Павел Власов и его скромная, героическая мать отразили собой самое существо народного героизма своей эпохи, потому и образы их исполнены для нас, последующих поколений, такой волнующей прелести и могучей силы убедительности.

Надо оговориться: живой образ передового русского рабочего-революционера П. А. Заломова М. Горький запечатлел не

Андреевны Заломовой, по мужу Барановой, младшей сестры П. А. Заломова, первоначально были напечатаны в журнале «Звезда» № 11, 1938 год. Для настоящего издания они уточнены, несколько дополнены и продолжены автором.

Отрывки из писем П. А. Заломова печатаются по оригиналам и копиям, хранящимся частично в семье П. А. Заломова, частично — в литературном музее А. М. Горького в городе Горьком.

Все примечания в книге сделаны редактором.

только в художественном отвлечении от реального Заломова в своем Павле Власове; в романе «Клим Самгин» среди множества вымышленных действующих лиц писателю понадобился и исторически реальный Заломов, — он так и назван по фамилии. Читатель встретит его идущим в первых рядах многотысячной московской народной демонстрации 1905 года, в сцене похорон Николая Баумана.

Не может не обратить на себя внимания тот широкий круг имен, названных в «Воспоминаниях», который так или иначе оказывается связан с Заломовым. Сестры Невзоровы, нижегородцы Ванеев и Сильвин, участники ленинского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» в Петербурге — В. И. Ленин; Ладыжников, Десницкий, О. И. Чачина — А. М. Горький; О. И. Чачина — Н. К. Крупская — А. И. и Е. И. Пискуновы — и опять В. И. Ленин, «Искра»; В. М. Загорский, Я. М. Свердлов, Д. А. Павлов, Г. М. Кржижановский, В. М. Молотов; можно назвать не названных в «Воспоминаниях» Л. Б. Красина и других в Петербурге, В. Л. Шанцера (Марата) и Н. Э. Баумана в Москве. Из широкой сферы деятелей русской общественной жизни и культуры можно назвать нижегородского механика-самоучку В. И. Калашникова, П. Ф. Лесгафта, И. В. Мичурина — список этот можно продолжить. И простой этот перечень имен лучше длинных доказательств показывает, насколько действительно в центре больших исторических сдвигов и событий русской общественной жизни оказалась простая русская рабочая семья Заломовых, насколько исторически значительна, то-есть действительно народна была ее деятельность.

Надо предостеречь молодого читателя от слишком упрощенного восприятия некоторых мест «Воспоминаний». Может, например, случиться, что из рассказа П. А. Заломова о развороте социал-демократической работы в Сормове иные читатели вынесут ложное впечатление, будто до появления П. А. Заломова в Сормове социал-демократическая работа там не велась и вообще партийной организации не существовало. В таком впечатлении меньше всего надо винить самого рассказчика. Это объясняется особенностями того далекого уже от нас времени, когда по самим условиям работы — особой конспиративности, особенностям организационного построения — далеко не все совершающееся оказывалось известно даже всем членам «центрального десятка», то-есть руководства. Еще менее известно было прошлое организации, зачастую даже довольно близкое по времени. Сама руководящая роль П. А. Заломова в Сормове, центральное место его в сормовском «искровском» подполье начала нашего века несомненны — они достаточно авторитетно подтверждены рядом воспоминаний. Но успешный разворот партийной работы в Сормове в описываемое автором время, рост влияния партийной организации на рабочие массы (как, впрочем, и само выдвижение П. А. Заломова на руководящую роль в организации) не явились из ниоткуда, они — дело зрелости движения, они подготовлены. Социал-демократическая работа в Сормове непрерывно велась с начала 90-х годов; здесь работали, создавали кружки М. А. Сильвин,

Г. М. Круковский, И. Х. Лалаянц, С. И. Мицкевич и другие марксисты. Если П. А. Заломов не говорит об этом, то лишь потому, что выступает он в данном случае не как историк, а как непосредственный участник и свидетель событий. Относительно же собственных качеств он не обманывался. В «Воспоминаниях» он прямо указывает: «Среди сормовской партийной организации было немало товарищей, превосходивших меня умом, способностями, энергией, быть может, и врожденной храбростью, но мое преимущество заключалось в том, что я перешел последнюю черту в пятнадцать с половиной лет и имел за своими плечами уже десять лет революционной работы». Что́ именно отличает П. А. Заломова от его товарищей, что́, собственно, выдвигает его на особое место в организации, здесь сформулировано точно: опыт, зрелость. Не надо забывать и того, что в Сормове (как, впрочем, и в других местах) П. А. Заломов действует отнюдь не сам по себе: он настаивает на своем мнении, он непреклонно борется за него, но проводит в жизнь лишь с того момента, когда его мнение признано правильным, когда всякий его шаг одобрен решением организации.

Наконец еще об одной познавательной стороне записок П. А. Заломова, мимо которой нельзя пройти. Из «Воспоминаний» мы узнаем о нижегородских и сормовских рабочих-революционерах Г. И. Гарнидове, Г. Я. Козиде, Д. А. Павлове и других, с одной стороны; о сестрах Невзоровых, супругах Пискуновых, О. И. Чачиной и ряде других интеллигентов-марксистов Нижнего Новгорода — с другой. Во взаимоотношениях и взаимодействии тех и других перед нами выпукло и ясно вырисовывается роль и значение революционной марксистской интеллигенции в то время. Перед нами — в действии, в раскрытии — марксистский тезис о внесении социал-демократического сознания в рабочее движение извне, из среды революционной интеллигенции, повествование о великой силе, возникающей из соединения, из слияния стихийного рабочего движения с научным социализмом.

Н. Бирюков



П. А. Заломов

ВОСПОМИНАНИЯ

НА ЗАВОД

Мать обивала пороги, кланялась, просила, плакала, но ни в один магазин, ни в одну контору меня не хотели брать. Всюду надо было иметь протекцию, и никакие слезы, никакие поклоны не могли ее заменить. Меня согласились принять только учеником слесаря на механический завод Курбатова, на котором отец работал с двенадцати лет до самой смерти.

Мать повела меня на тот самый завод, который отец считал каторгой, проклиная при жизни. Не сбылись его мечты избавить меня от этой каторги, дать мне образование. Но мать радовалась, что меня приняли хоть здесь и что мне будут платить двадцать копеек в день.

Вместо семи часов утра, как было до этого, пришлось вставать в четыре, чтобы успеть умыться, одеться

и прийти на завод до гудка. Ровно в пять часов утра начиналась работа. С перерывами на завтрак и обед она длилась до семи часов вечера.

Поселился я у бабушки, которая жила вдвоем с сыном, сапожником Яковом Кирилловичем Гаврюшовым, братом моей матери. Он каждый день работал до двенадцати часов ночи и позднее, спал до семи-восьми утра. Бабушка рано ложилась и рано вставала, затапливала печку и очень сердилась, что сын все спит. Она ворчала, как бы нечаянно бросала на пол железную заслонку, стучала об пол клюкой. Дядя лежал с закрытыми глазами, сердился, что мать не дает ему выспаться, но делал вид, что спит.

Я спал в крохотной мастерской дяди, на полу. Бабушка будила меня легким пинком, я вскакивал, свертывал трубкой свой тонкий войлочек с одеялом и подушкой, быстро умывался, одевался и бежал на работу. Бабушка совала мне в руки приготовленный с вечера узелок с щепоткой чаю, кусочком сахару, кусочком черного хлеба — побольше и кусочком белого — поменьше. Нестерпимо хотелось спать. Я готов был свалиться на камни мостовой, в грязь, куда угодно, — только бы спать, но нужно было спешить на завод.

Прежде самый длинный летний день казался мне коротким, теперь время тянулось бесконечно: я ждал сначала перерыва на завтрак, потом перерыва на обед, наконец окончания дневной работы. Была только одна мечта — отдохнуть, заснуть. Чай я пил теплый, чтобы не тратить много времени, хлеб старался съесть во время работы, чтобы урвать десять-пятнадцать минут от завтрака для сна.

Гудел гудок на перерыв, я садился около тисков на ящик из-под свечей и, уткнув голову в колени, мгновенно засыпал. Иногда ложился на пол, покрытый толстым слоем грязи, подкладывая под голову березовое полено.

Меня определили в подручные к молодому слесарю Якову Степановичу Пятибратову. Первое время я приходил в отчаяние от своих тонких, длинных слабеньких рук: они так ныли и болели, что как ни тянуло меня ко сну, несколько ночей я почти не мог спать.

Но это скоро прошло, мускулы сделались крепче, боли исчезли. Я втянулся в работу, обрубал гайки сначала зубилом, а потом уже напильником подгонял их по калибру, научился без промаху бить со всего размаху в конец зубила тяжелым молотком, держа его за самый конец рукоятки. Это далось мне не сразу, и моя левая рука нередко распухала от ударов молотка. Я засыпал кровоточащие места толченым мелом, завязывал грязной промасленной тряпкой и продолжал работу.

С гаек меня перевели на медную арматуру, на парораспределительные краны. Часто меня отрывали от тисков и посылали подручным в слесарную мастерскую для работы на поршнях с взрослым слесарем. Заводу выгодно было заменять взрослых слесарей подростками, которые получали поденную оплату от двадцати до сорока копеек в день, тогда как взрослому слесарю надо было платить около рубля. Обычно плату нам, молодым слесарям, доводили до пятидесяти копеек в день и на этом останавливались; поэтому молодежь, получив квалификацию, уходила на другие заводы, где им платили, как мастерам своей профессии, по качеству сданной пробы.

Работа становилась все интереснее, я увлекался ею, но в то же время она отнимала все мои силы, притупляла мозг. Кроме дней, надо было работать три ночи в неделю и почти сплошь все праздники. От такой изнурительной работы вскоре мой позвоночник заметно согнулся, грудь стала впалой: сказалось плохое питание, а также тяжелые заболевания, перенесенные в детстве. Прежде, до завода, я легко пробегал рысцой всю Верхнюю набережную Волги от Печёрских оврагов до кремлевской стены — так называемый Откос, мог без передышки вбежать на него с Казанского съезда по лестнице, выходящей к Кизеветтерской улице.

И вот в семнадцать лет я обнаружил, что не могу делать быстрых движений — задыхаюсь, не могу даже танцевать.

Я очень завидовал своему другу детства Ивану Рязанову. Он был широк в плечах и груди, ловок и силен,

казался неутомимым. Не было остроумнее и веселее его. Мне казалось, что он проживет сотню лет, но завод сожрал и его; в 1899 году, возвратившись из Перми, я узнал, что он умер от туберкулеза легких в двадцать лет. Его смерть казалась мне зверским убийством.

От Пятибратова я перешел на тиски в противоположный конец мастерской. Мой первый учитель по работе не терял меня из виду. Узнав, что я окончил уездное училище, он стал расспрашивать, что я читал. Я назвал ему прочитанные мной произведения Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Достоевского, Некрасова и других.

«Ты пойдешь далеко», — сказал он и стал относиться ко мне еще более внимательно.

Часто Пятибратов подходил ко мне, начинал разговоры на темы, не связанные с заводом, задавал вопросы. Потом он перешел на религию. Сначала я думал, что это какой-нибудь сектант, желающий обратить меня в свою веру. На заводе работало немало старообрядцев, так как управляющий заводом был старообрядец. Некоторые рабочие интересовались религией и ходили на диспуты, происходившие в церкви между старообрядцами и православными священниками. Однако скоро я понял, что Пятибратов не относится ни к тем, ни к другим, он атеист и хочет разрушить веру в бога, которую он предполагал встретить у меня. Я не говорил о том, что перестал верить в бога еще с двенадцати лет: мне было приятно, что взрослый и квалифицированный рабочий интересуется мной.

Пятибратов начал излагать мне идеи Маркса и Энгельса, рассказал, что все богатства создаются трудом бедняков рабочих и крестьян, которых эксплуатируют капиталисты, фабриканты и помещики. Он сообщил мне, что в России уже существуют подпольные тайные кружки рабочих, которые ставят своей задачей всех рабочих сделать сознательными социалистами, объединить их в Российскую социал-демократическую рабочую партию и потом путем вооруженного восстания завоевать власть, утвердить диктатуру пролетариата, экспроприировать всех богачей, фабрикантов и помещиков и построить социалистическое бесклассовое об-

щество, в котором исчезнет эксплуатация человека человеком, где будут работать сложные машины, а люди — только управлять ими. Я трепетал от восторга, но молчал, ничем не выдавая своего волнения. А Пятибратов продолжал: «За участие в тайном обществе грозит тюрьма и ссылка в Восточную Сибирь. За чтение и хранение запрещенных книг, призывающих рабочих к борьбе за социализм, грозит тюрьма. За распространение этих книг грозит тюрьма и ссылка. А все мы погибнем в тюрьмах, на виселицах, в ссылке. Но помни! Мы бьемся за величайшее дело всего трудового человечества».

Пятибратов замолчал, молчал и я. Немного помедлив, он тихо спросил:

— Согласен ли ты вступить в нашу организацию? *

— Дело идет о всей моей жизни! Я не могу решить сразу, мне надо подумать.

Пятибратов не ожидал такого ответа, рассердился и спросил:

— Сколько тебе лет?

— Пятнадцать.

— Ну, знаешь что? Я в твои годы был умнее и долго не думал.

Он сделал два шага от моих тисков, но опять вернулся и сказал:

— Только ты никому об этом не говори, а то меня посадят в тюрьму. Тюрьмы я не боюсь, но мне жаль матери.

Он ушел. Я остался один и попрежнему усердно пилил свою гайку, примеряя ее калибром. Ничто внешне не изменилось. Попрежнему густой, насыщенный мельчайшей металлической пылью воздух гудел от шелеста ремней, скрежета напильников, цоканья молотков, рева круглой пилы в модельной, свиста рубанков, от разно-

---

* Я. С. Пятибратов входил в первый рабочий марксистский кружок Нижнего Новгорода. До своего отъезда в Самару в 1895 году играл в нижегородском рабочем подполье видную роль. В Самаре был арестован в 1896 году по требованию Нижегородского жандармского управления и в конце 1897 года выслан на четыре года в Уфимскую губернию под гласный надзор полиции. Умер в 1938 году членом Коммунистической партии.

образных звуков станков и приводов. Но рамки завода раздвинулись, я почувствовал себя иным, свободным. До сих пор жизнь казалась мне бессмысленной, невыносимой. Я чувствовал, как крепнут мои мускулы, но свое любимое занятие — чтение книг — мне пришлось бросить совсем, так как не хватало времени для сна. Меня тянуло на Волгу, в поля, в леса. Все это было отнято у меня. Самым нестерпимым было то, что мне некого было обвинять, некому было мстить. Я понимал, что без работы мне грозит голодная смерть, и потому в то время не обвинял еще хозяина, который, как считал я, дал мне работу — дал хлеб. Иногда начинал думать о самоубийстве, но жаль было мать. Она была плохо приспособлена к жизни. Будучи хорошей повивальной бабкой, она у рожениц работала и за прачку и за прислугу, получая за это гроши, чтобы как-то существовать. Мать покупала на Балчуге у татар старье, мыла его, распарывала и из спорков шила на продажу дешевые детские пальто и платьица.

Однажды выдалось свободное воскресенье, и я, проспав до 9 часов утра, отправился в гости к своей старшей сестре Елизавете Андреевне Гарниовой.

Сестра жила напротив церкви «жен-мироносиц», и мне пришлось проходить через Лыковую дамбу мимо Балчуга. Я остановился отдохнуть и стал смотреть вниз, на кишевший людьми Балчуг. И вдруг совсем близко, внизу, саженях в пяти от лестницы, я увидел мать. Она стояла робкая, растерянная, жалкая и смотрела на группу торговок, окруживших татарина с громадным узлом. Торговки рвали из рук друг у друга вещи, торговались с татарином, цинично ругались между собой, а две разодрались из-за драпового пальто. Они были похожи на рассвирепевших волчиц, и это еще больше подчеркивало беспомощность матери. Она так и не решилась подойти. Острая боль рванула сердце, мне стало невыносимо жалко ее, горячая волна нежности залила сознание.

Я понял, сколько тревог, сколько бесконечных страданий пришлось перенести ей, робкой, запуганной, чтобы вырастить меня, и мысль о самоубийстве мне стала казаться эгоистической, жестокой и преступной.

И все же я не мог примириться с той пожизненной рабской долей, какой являлась моя жизнь, какая была уготована мне и окружающим меня рабочим.

Только общение с Пятибратовым помогло мне справиться с мрачными мыслями, и я навсегда освободился от мании самоубийства. Я понял, что жизнь может быть иной — интересной и радостной — и что мои мечты о подвигах могут воплотиться в действительность. Беспорядочные мысли вихрем стали проноситься в моей голове, и я поймал себя на том, что в моих мыслях слово *Я* само собой заменилось словом *МЫ*.

Я вспомнил о своем прадеде, николаевском солдате, бывшем крепостном из Костромской губернии. Он убил барина и бежал в Москву, где добровольно поступил в солдаты, чтобы скрыть свои следы. Его угнали на Кавказ, и там он двадцать пять лет сражался с чеченцами, которые не были его врагами, рубился с ними в ста тридцати пяти рукопашных схватках, был несколько раз ранен, за что его грудь была увешана четырьмя георгиевскими крестами и медалями.

«Мой прадед был глуп, мы будем рубить только эксплуататоров», — закончил я свою мысль.

Вспомнил я отца. Натерпевшись бесконечных несправедливостей от своего врага, мастера Френзеля, отец однажды ночью накрыл его рогожным кулем и сбросил с пароходных мостков в Волгу. Это ничего хорошего не принесло ни отцу, ни другим рабочим. Френзеля вытащили, отцу удалось скрыться неузнанным, но мастер стал только еще злее.

«Теперь, — подумал я, — мы накроем рогожным кулем не френзелей, а самих «хозяев», воспитавших таких холопов, как Френзель, и они уже не вынырнут на поверхность».

Так передо мной открылась цель моей жизни. Я на все смотрел теперь новыми глазами, и все мысли у меня были новые. И я мысленно говорил себе: «Эти станки будут нашими, эти машины будут нашими, этот завод будет нашим». Моя злоба перестала быть беспредметной, я узнал, что могу ненавидеть по всей правде и совести, что могу организованно вести борьбу против настоящих, злейших врагов рабочего класса.

Но меня терзали мучительные думы: имею ли я право вступить в ряды бойцов за дело пролетариата, смогу ли я выдержать пытки, когда от меня потребуют выдачи товарищей. Меня одолевали сомнения, а услужливое воображение рисовало картины позора — выдачи товарищей под пытками. Мне хотелось итти к Пятибратову и сказать ему, что я вступаю в рабочую марксистскую организацию, но я боялся, что не имею на это права, я не был уверен в своих силах.

Я был молод и горяч и немедленно начал приучать себя к выносливости на боль: как бы нечаянно я разбивал себе при рубке молотком левую руку. Один раз я ударил молотком по ногтю большого пальца, ноготь почернел, из-под него выступила кровь. Но эти испытания казались мне недостаточными. Однажды в слесарной мы пришабривали со слесарем шток к большому поршню. Нагнувшись, я как бы нечаянно выпрямился преждевременно и теменем ударился о железо. Я упал на пол, но тут же заставил себя подняться. Испытание утвердило меня в мысли, что я могу вынести всякую пытку. После этого случая я, уже вполне уверенный в себе, пошел к Пятибратову и заявил, что вступаю в подпольную рабочую организацию, и попросил у него нелегальную литературу.

Первой книжкой, которую он принес мне, была «Эрфуртская программа», за ней последовали другие. Дома я вкладывал эти брошюрки в обыкновенную книгу и читал, когда дядя работал в своей мастерской и я был в комнате один. Я делал вид, что читаю романы, принадлежавшие моей бабушке. У нее стоял аналой, на котором всегда лежало большое раскрытое евангелие. К бабушке часто приходили женщины (она была повивальной бабкой). И бабушка, когда видела через окно, что к ней идут, прятала роман и брала евангелие. Ее уважали, считали очень богобоязненной старухой.

— Что это вы, Александрия Яковлевна, — заводили с ней разговоры, — али внучка к себе взяли?

— Взяла! Трудно Анне-то. А ему только двадцать копеек в день платят. Вот я и не сплю всю ночь, бужу его, чтобы не опоздал на работу. Жалко мальчишку-то! Пять копеек вычтут, если проспит до завтрака.

Клиенты уходили, умиленные добротой богобоязненной Александрии Яковлевны. Они не знали, что я каждые две недели сдавал ей целиком все деньги, заработанные мной за дневную, ночную и праздничную работу.

Бабушка была скупа. За вечерним чаем она часто подсовывала мне вместо хлеба зачерствелые корки.

— На-ка, Петюшка, доешь! У тебя зубы-то вострые. Плохие зубы-то у меня стали, а выкидывать жалко.

Дядя сердился, начиная двигать стакан. Наконец не выдерживал и резко отодвигал корки на другой конец стола, а мне отрезал нарочно большой кусок мягкого белого хлеба, раза в три больше той нормы, которую давала бабушка. Та поджимала губы и измеряла глазами хлеб, быстро исчезавший у меня во рту.

— Мне что! Мне разве жалко! Пускай ест на здоровье! Видно, придется выбрасывать корки-то! Нищие брать не хотят.

— Размочи и отдай курам! — сердито бросал дядя.

Дядя по воскресеньям не работал и ходил в бакалейную лавку играть на деньги в домино. Играли по маленькой, но все же это, очевидно, придавало игре интерес, и взрослые люди, к моему удивлению, предавались этой игре часами. У бабушки был расчет на то, что дядя увлечется игрой и запоздает. Она наливала мне щей и говорила:

— Поешь-ка, Петюшка, щей да ложись спать. Яша-то придет не скоро. Мяса-то на ужин не осталось.

Но дядя большей частью неожиданно появлялся, так как всегда носил с собою карманные часы, и на стол ставились щи уже с кусочками мяса и рисовая каша с изюмом и с маслом. Мне в таких случаях очень хотелось смеяться, но я никогда даже не улыбался, чтобы не рассердить дядю, которого очень любил.

Однажды дядя заметил, как я прятал брошюру над входной дверью в комнату. Он сделал вид, что ничего не узнал, а потом взял брошюрку, прочитал ее и после ужина начал расспрашивать, где я ее достал, понимаю ли я, что за чтение таких брошюр мне грозит тюрьма и ссылка.

Бабушка спала, и мы пробеседовали часа два. Я откровенно сказал ему, что не могу примириться с положением вьючного скота и решил отдать свою жизнь борьбе за лучшую жизнь рабочих — стать революционером.

— Ты не имеешь права заниматься этим! Ты ведь должен поддерживать свою мать, заботиться о своих младших сестрах и брате.

— Разве постыдно быть революциоиером? Ты же сам восхищался и восхищаешься революционерами!

— Ты еще мальчик и сам не зиаешь, чего хочешь. Погубишь ты свою жизнь!

— Какой я мальчик! Я работаю деиь и ночь, работаю больше лошади, а получаю гроши, никогда ие высыпаюсь. Я проклинаю эту жизнь, как проклинал ее мой отец. Но он только жаловался и пил, а мы будем драться! Мы еще покажем, какие мы мальчики!

Мы долго говорили с дядей, моя горячность троиула его. После всех попыток убедить меия ои сказал:

— Своей матери ты ничего не говори. А книжки отдавай мие, — я сам буду прятать. А то сунул в щель над дверью, ее сразу и видно.

Наши беседы продолжались. Дядя читал литературу и после того, как я перешел жить к матери. Впоследствии он два раза предотвратил наш арест, когда мы собирались в квартире Аииы Михайловиы Весовщиковой с сестрами Невзоровыми. С увлечением читал он кииги, которые я приносил. Ои прочитал «Через сто лет» Беллами, «Спартак» Джоваиьоли и другие книги.

Часто заходила с базара мать. Бабушка встречала ее недовольиым, иеприязиеиным взглядом, но все же приглашала пить чай. Большой самовар целыми диями стоял иа столе и шумел. Дядя любил горячий чай, и мать всегда попадала к чаю, — волей-неволей бабушке приходилось угощать ее. Мать клала на ларь тяжелый узел с тряпьем и садилась за стол пить чай, ио очень быстро засыпала, иногда с кусочком хлеба во рту. Бабушка сердито кричала:

— Что уж это ты, Аииа, выспаться не можешь! Ляг, что ли, иа кровать да выспись! А то сидя спит с куском во рту, людям на смех!

Мать обидчиво поджимала губы, но покорно вставала и шла к постели. Бабушка неумолимо ворчала:

— Подшила бы подол у юбки-то! Весь в шоблах! Да и в грязи! Срам смотреть!

Мать молча снимала башмаки, подвертывала подол грязной юбки и ложилась на мою кровать, которую мне поставили между буфетом и печкой. Мне каждый раз казалось, что она расплачется и никогда больше не придет. Но она любила свою мать, нежно любила своего младшего брата, в пользу которого, несмотря на свою нищету и кучу детей, отказалась от седьмой доли наследства, полагавшейся ей по закону после смерти деда. Она могла бы на всю жизнь обеспечить свою семью бесплатной квартирой, так как, кроме дома в две большие квартиры, было еще два флигеля, сдававшихся под квартиры. Но она не хотела огорчать мать, боялась обидеть брата.

Внешне она была очень похожа на своего отца, старого нелюбимого мужа бабушки, и та перенесла всю свою нелюбовь к деду на нее. Бабушка была из Балахны. К восемнадцати годам она успела отказать тринадцати завидным женихам, которые настойчиво ее сватали. Она была весела, остроумна и красива. Мать бабушки, вдова, очень сердилась на разборчивость дочери, в особенности когда последняя отказала подрядчику по постройке барж, тринадцатому по счету.

— Ну, ведьма! Теперь я выдам тебя за первого, кто посватается. За косы в церковь притащу, а обвенчаю.

Четырнадцатым оказался мой дед, Кирилл Степанович Гаврюшов, сапожник из Нижнего Новгорода. Он был невысокий, грузный, ему было уже сорок два года, и бабушка оказала своей матери отчаянное сопротивление. Но та сдержала свое слово и силой повенчала дочь с некрасивым и старым сапожником. Бабушка быстро приручила влюбленного мужа, была с ним приветлива и ласкова, и он отпускал ее на вечеринки, где она, молодая, веселая, красивая, певунья и танцорка, всегда была желанной гостьей.

Любимый сын бабушки, Яков, был высок и строен, он не имел никакого сходства с моим дедом и бабушкой.

Мой дядя был очень хорошим певцом, гармонистом, самоучкой научился рисовать. Его портреты по памяти передавали сходство лучше фотографий, так как он умел видеть самое характерное в лице человека. В молодости у него была невеста, дочь машиниста с парохода. Дядя был романтически влюблен в нее. Перед самой свадьбой ее посватал капитан того же парохода, и машинист насильно выдал за него дочь. Через два года женщина умерла от туберкулеза — зачахла от тоски, как говорили люди. Дядя тосковал по ней всю жизнь и, несмотря на все просьбы и уговоры матери, так и остался на всю жизнь холостым, хотя и пользовался успехом у женщин.

Мои взгляды на брак были «устаревшими», я в своей жизни знал только одну женщину, революционерку, ставшую моей женой. Итти по стопам дяди я не собирался, но меня в то время сильно интересовал вопрос, как дядя вообще завоевывает доверие человека. Мне как революционеру нужно было научиться этому искусству, потому что нельзя сделать революционером того человека, который тебе не доверяет. Мне бросилось в глаза, что дядя относится с уважением к женщине, окружает ее утонченным вниманием, с глубоким сочувствием и искренностью интересуется всеми мелочами ее жизни.

Вопрос о завоевании доверия человека интересовал меня в громадной степени. Я пришел к выводу, что революционер должен быть исчерпывающе честен, правдив и искренен прежде всего по отношению к самому себе. Он должен учить других только тому, что знает твердо сам, во что непоколебимо верит, что может доказать своими поступками, своей жизнью, своей смертью. Непоколебимая вера в победу — это уже бо́льшая часть победы.

Но вместе с тем я должен был учиться скрывать правду от врагов. Я хотел научиться врать не краснея, не потупляя своего взгляда. Скоро мне представился к этому случай. Не меньшую роль играло в этом и мое пристрастие к самопроверке и испытанию на боль. Перед окончанием ночной работы я обычно приносил чайник кипятку, чтобы чай успел настояться

и кипяток немного остыл. Около куба никого не было, и я однажды решил обварить себе кипятком руку. Чтобы не потерять способности работать, кисть руки надо было сохранить. Я выбрал место выше ладони правой руки. Сначала нацедил из крана кипятку в чайник, потом повернул правую руку ладонью вверх, отвернул обшлаг блузы, открыл кран и быстро перерезал льющуюся струю рукой. Рука оказалась ошпаренной на протяжении двух вершков. Ошпаренное место покрылось пузырями с лесной орех. Товарищи сразу же заметили это и стали расспрашивать. Я рассказал им нелепейшую вещь: будто бы бак только что закипел, а когда я поставил чайник под кран, из-под крышки плеснула струя кипятку и обварила мне руку. Я говорил вполне серьезно, без малейшей улыбки, и мне беспрекословно поверили. Советовали наложить жидкий слой мыла, завязать тряпкой, смоченной в вареном масле. Я так и сделал. Руку долго драло, ожог слился в один сплошной пузырь. Этот пузырь увеличивался, потом лопнул. Было больно, но хотелось смеяться. Если бы все произошло так, как я рассказывал, то я в первую очередь обварил бы себе кисть руки. Ошпаренное место, выше кисти, защищалось обшлагом рукава блузы. Руку я обварил для тренировки на боль, но попутно убедился, что и я могу врать не хуже других. Я много думал над этим случаем. Моей большой неправде поверили только потому, что в ней была маленькая частичка правды — ожог руки. Если бы я сказал, что обварил руку умышленно, мне просто не поверили бы: такой поступок непонятен. Я пришел к выводу, что люди, не привыкшие доискиваться полной истины, способны верить скорее понятной им лжи, чем непонятной истине. Я думал о предстоящей мне борьбе с сыщиками и жандармами и психологически все время готовился к этой борьбе.

Мне дали прибавку: я стал получать тридцать копеек в день. Как-то незаметно улучшились и мои отношения с бабушкой. То ли она ко мне привыкла, то ли была довольна, что я стал приносить больше денег, но только она стала приветливее, ласковее. Возможно, она ценила то, что я внимательно слушал ее рассказы,

исполнял ее просьбы, приносил вскипевший самовар на стол, колол дрова и т. п. Наслушался я от нее и анекдотов, и притом самого небогобоязненного свойства. В них не было ни одного непечатного слова, но смысл их был предельно прозрачен. Она смеялась, смеялся и я. После я передавал эти анекдоты молодежи на заводе, они имели успех. Но вот однажды я рассказал два из них одному молодому слесарю Сенчеву. Он был женат на дочери подрядчика, одевался очень модно, по праздникам носил котелок. Выделялся Сенчев и своим умственным развитием. Он равнодушно выслушал один анекдот. А когда прослушал другой, то измерил меня презрительным взглядом и, саркастически улыбаясь, спросил: «Это тоже рассказала тебе твоя бабушка?» Не дожидаясь ответа, он отвернулся от меня. Я не знал, куда деваться от стыда. Вульгарные анекдоты, циничные ругательства были на заводе обыкновенной вещью, и я впервые встретил в рабочей среде человека, который отнесся с крайней степенью презрения и к моим анекдотам и — из-за них — ко мне.

Незадолго до этого случая мать узнала, что я ругаюсь, как все. Она прочитала мне длиннейшую проповедь. Но я сам слышал от нее два бабушкиных анекдота, и ее слова не произвели на меня никакого впечатления. И вот я столкнулся с человеком, который не ругался, который окатил меня ледяным презрением за то, что я был таким же, как все.

Я понял, что, бессознательно подражая окружающей среде, я допускал явное противоречие с той целью, которую себе поставил: ведь мы должны бороться не только за права эксплуатируемых рабочих мужчин, но и за права женщин, за нового человека. Я круто изменил свой лексикон, очистил язык, и мне отныне уже не нужно было оглядываться, нет ли близко детей, нет ли близко женщин.

Пятибратов говорил, что если каждый сознательный рабочий сделает за всю жизнь свою революционно-сознательными только двух рабочих, то и этого будет достаточно, для того чтобы рабочий класс пришел со временем к вооруженному восстанию, к революции, к диктатуре пролетариата. Мне казалось, что разгово-

ры с Пятибратовым и несколько прочитанных книг и нелегальных брошюр сделали меня уже чуть ли не профессором марксизма. Достаточно мне было понять, что все богатства создаются из неоплаченного труда наемных рабочих, как весь мир в моих глазах перевернулся. Все стало ясно: надо сделать сознательными всех рабочих, всех трудящихся крестьян, завоевать диктатуру пролетариата и строить коммунизм. Надо вести беспощадную борьбу с врагами социализма. Все, кто противится пролетарской революции благодаря своей несознательности, должны быть воспитаны как сознательные борцы за диктатуру пролетариата. Жизнь на земле должна принадлежать, по справедливости, только тем, кто работает.

Все свои знания я сейчас же сообщал другим молодым рабочим, которые казались мне заслуживающими доверия. Пятибратов рекомендовал мне обратить внимание на молодого модельщика Александра Замошникова, с которым мы скоро сделались неразлучными друзьями. Я давал молодежи читать литературу — сначала легальную, затем и запрещенную. Скоро я, однако, убедился, что сделать молодежь сознательной не так просто, как казалось с первого взгляда. Легальную литературу читали охотно, но к нелегальной вначале относились очень опасливо. У многих из молодежи уже были специфические мещанские интересы. Юноши шестнадцати-семнадцати лет уже ходили в публичные дома, пили водку, имели любовниц. Многим казалось верхом счастья сделаться масленщиком на пароходе, чтобы дослужиться до помощника машиниста, с последующим повышением в машинисты. Когда я овладел квалификацией слесаря, мастер предлагал и мне итти на пароход в масленщики. Я от этого отказался — там мне некого было бы пропагандировать, а пропаганда идей марксизма уже тогда стала главной целью моей жизни.

В начале лета 1893 года я произвел последнее испытание болью. Мастер поручил мне делать медные шлифованные планки для щитов пола в трюме. В планках должны быть дыры для шурупов, я сверлил их дрелью на доске, положенной на колени, причем сам я садился

на ящик из-под свечей. Сверло высовывалось вершка на полтора, и я пустил его без нажима в мякоть правой ноги выше колена, сбоку, чтобы не повредить кость, а потом пошел в лечебницу к заводскому фельдшеру. Я сказал, что сверло нечаянно соскочило с планки и попало в ногу. Фельдшер поверил, запустил в ранку зонд и сказал, что ранка глубиной в полтора вершка. Потом он ее промыл, продезинфицировал и перевязал ногу. Ранка была пустячная, но болела долго, я почти все лето хромал и ходил по два раза в неделю на перевязку к фельдшеру. Работу я, конечно, ни на один день не бросал.

После этого я окончательно уверился в своих силах. Впоследствии эти опыты производили надо мной уже враги революции.

В конце лета 1893 года я переехал к матери в слободку Кошелёвку, куда она перебралась из Вдовьего дома. Поселились мы в комнате семь аршин длиной и четыре с половиной шириной. Часть комнаты занимала печь. В «квартире» жило шесть человек, и в ней почти буквально негде было повернуться. Это была часть дома, пристроенная моим отцом. Минуя деда, прадед передал свой дом внуку, моему отцу, которого он любил, и приписал его к Кошелёвскому земельному обществу. Но отец не хотел стеснять братьев. Еще при его жизни наша семья ушла на квартиру, отцу надоели постоянные ссоры с братьями. Пристройку отца занял младший брат. Когда две сестры вышли замуж, а я поступил на завод, мать выгнали из Вдовьего дома. Ей пришлось судиться с деверем, и только по постановлению суда тот освободил построенное моим отцом помещение.

О моем вступлении в революционную рабочую организацию мать не знала. Я старался оттянуть неизбежное объяснение с матерью: записался в народную библиотеку, где требовался только залог за выдаваемые книги, и стал читать нелегальную литературу, вкладывая брошюры в библиотечные книги.

Понемногу я втягивал в революционную деятельность рабочую молодежь. Рядом со мной на тисках работал котельщик Николай Кириллович Афанасьев, два-

дцати шести лет. В котельной ему выбило глаз, и его перевели в болторезы. Он был очень неразвит, хотя и знал грамоту. Я давал ему сначала легкие, а затем все более серьезные книги. Он охотно стал читать нелегальные брошюры, но на это потребовалось два года. Гораздо быстрее пошло дело с другим товарищем — Леонидом Лебедевым. Он был способный юноша и, сделавшись членом нашего кружка, привлек в него своего брата Константина. Однако большинство молодежи, читавшей нелегальную литературу, не решалось вступать в организацию. Я и не добивался этого, — с меня пока было достаточно, что они сочувствуют нам. Я знал, что не все могут быть революционными марксистами, так как это требовало самоотверженности и героизма, требовало длительного воспитания.

В то же время я и сам глубже вовлекался в революционную борьбу. Я познакомился с членами организации Михаилом Громовым, Михаилом Замошниковым, узнал про «стариков», как революционная молодежь называла членов организации в возрасте под сорок лет. Правда, эти «старики» были крайне осторожны и больше варились в собственном соку. Надежды можно было возлагать главным образом на молодежь, не связанную семьей.

Моя дружба с Александром Замошниковым крепла. Скоро я понял, что он познакомился с идеями марксизма раньше меня, да и нелегальную литературу я получал уже через него.

Наступал май 1894 года. Замошников сообщил мне, что в ближайшее воскресенье будет проведено празднование Первого мая на берегу Оки, в Слуде. С нетерпением ждал я воскресенья: мне очень хотелось увидеть товарищей, которые борются за дело пролетариата.

Утром в воскресенье, — в этот день мы оба были свободны от работы, — мы с Замошниковым отправились в назначенное место.

Шли мы по хорошо знакомым мне местам, мимо острога, по Напольной улице, потом по большой дороге на Арзамас мимо солдатских лагерей трех полков. Мы наслаждались солнцем, воздухом, простором полей.

Саша Замошников сказал мне, что на маевке будет выступать интеллигент Александр Семенович Розанов*.

Маевка происходила на горе у берега Оки. Спустились мы вниз всего сажени на три, чтобы не было видно с дороги. На небольшой площадке, под высокими кустами, было водружено малиново-красное знамя с надписью: «Да здравствует международный праздник пролетариата Первое мая!».

Здесь я познакомился в первый раз в жизни с интеллигентом-марксистом Александром Розановым, а также с рядом рабочих — с типографскими наборщиками: Любимцевым, Беляевским, Лукомским, с позолотчиком Яхонтовым, со слесарем Александром Барцевичем, с котельщиком Григорием Козиным. Из типографщиков присутствовал еще очень красивый юноша с белым лицом и черной родинкой на щеке. Всего собралось человек пятнадцать, женщин не было. Розанов рассказал об истории праздника Первого мая. Его рассказ произвел на меня сильнейшее впечатление. Потом пили чай, закусывали белым хлебом с вареной колбасой. Появилась бутылка водки. Налили в рюмки и запели:

Выпьем мы за того,
Кто писал «Капитал»,
За героев его,
За его идеал!

Я был весь под впечатлением рассказа Александра Семеновича Розанова и никак не мог понять товарищей, пивших водку. Мне казалось это кощунством. Мне казалось, что они должны были забросить бутылку с водкой под гору. Но остальные относились к этому совершенно спокойно, и мне пришлось примириться с «обязательностью» этой традиции.

---

* Студент-марксист А. С. Розанов был выслан из Москвы за революционную деятельность и появился в Нижнем Новгороде в январе 1894 года. До лета 1896 года играл крупную роль в нижегородском марксистском подполье. В июне 1896 года арестован и в конце 1897 года выслан на четыре года в Архангельскую губернию под гласный надзор полиции. Позже политической деятельностью не занимался.

Большое впечатление произвело на меня число собравшихся: оно казалось мне очень большим и поразило разнообразием профессий. Слова Яши Пятибратова подтверждались: я своими глазами убедился, что мы не одиноки. Мне представлялось, что в этот же момент празднуют такие же группы рабочих разных профессий по всей России, и от этого становилось светло и радостно на душе.

В то же лето я сильно заболел. Это произошло на работе. Внезапно у меня начался озноб, который сменился высокой температурой, я не смог работать и, отпросившись у мастера, пошел домой. Обычно я доходил до дома в пятнадцать-двадцать минут, но теперь еле доплелся за час. Придя домой, я свалился и уже не мог подняться на ноги. Только через две недели вернулся я на завод, но, проработав неделю, вновь свалился; меня доставили домой на извозчике. Очевидно, это был возвратный тиф. Врач сказал, что надежды на мое выздоровление нет. Около моей постели стояли мать, сестры и плакали. Я слышал приговор врача, но он никакого впечатления на меня не произвел. Я так ослабел, что жажда жизни исчезла, и мне хотелось только отдыха от мучивших меня сильных головных болей. И все же, пролежав в постели два месяца, я поднялся на ноги и пошел на завод.

Снова стал я читать нелегальные книги. К осени Саша Замошников предложил мне ходить на занятия к Нине Алексеевне Рукавишниковой, но добавил при этом, что я должен иметь приличный костюм, так как рабочее платье будет привлекать внимание сыщиков. У меня, кроме рабочего платья, не было ничего, — ведь я получал только тридцать копеек в день, а наша семья состояла из шести человек. Саша обещал достать денег взаймы у интеллигентов и действительно принес мне двадцать пять рублей.

Волей-неволей я должен был обратиться к матери за содействием, — пришлось объяснить, для чего потребовался мне приличный костюм. Мое признание было встречено потоками слез и уговорами. Она говорила, что устала и думала отдохнуть, вырастив себе кормильца-сына, пугала меня тюрьмой, ссылкой в Сибирь.

— Пусть я буду повешен, — твердо заявил я, — но от борьбы за освобождение рабочего класса не откажусь, только она дает мне счастье, дает силы жить. Тебе же я буду помогать, пока жив.

Она покорилась, купила отрез и отдала шить костюм; вытащила из сундука пальто, купленное для нее матерью в приданое, и перешила его для меня. Появились у меня и ботинки с калошами и праздничная шапка. Свой долг я выплачивал постепенно.

У меня с матерью были бесконечные споры. Случалось, что в ночь под праздник мы лежали каждый в своей постели и спорили чуть не до рассвета о боге, о министрах, о власти. Шаг за шагом разбивал я детскую веру матери и подводил ее к сознанию, что бога выдумали люди, что все зло от эксплуатации человека человеком, что на земле есть рай для капиталистов-эксплуататоров и ад для тружеников рабочих и крестьян.

Мать сдавалась не сразу, она мобилизовала против меня родственников: своего брата Якова Кирилловича, мужа моей тетки, учителя Михаила Ивановича Павлова и зятя, мужа моей сестры, Григория Ивановича Гаринова.

Мать не знала, что Гаринова я сам начал агитировать уже с осени 1892 года. С осени 1897 года он вступил в наш рабочий подпольный марксистский кружок и стал ходить на беседы с сестрами Невзоровыми. Яков Кириллович Гаврюшов, тронутый слезами матери, попытался еще раз отговорить меня от участия в революционной работе, но ему самому же стало стыдно, когда я указал, что сочувствие и разговоры о революции с самим собой не могут сделать этой революции.

Самым упрямым союзником матери оказался Михаил Иванович Павлов. Он продолжал уговаривать меня даже после того, как мать свезла тюк прокламаций в Иваново-Вознесенск во время происходившей там стачки, и не переставал отговаривать до самого моего ареста. Как учитель он очень много читал. Восхищался Чернышевским, декабристами, декламировал «Русских женщин» Некрасова. Учение Маркса и Энгельса он признавал правильным, но находил, что для революцион-

ной борьбы время еще не настало и что я обрекаю себя на бесполезную гибель. Он без конца повторял мне, что надо ждать, когда капитализм одряхлеет и падет сам, как падает перезревшее яблоко с яблони. «Надо ждать. Время свое возьмет», — были его любимые слова. Я скоро понял, что Михаил Иванович дальше разговоров в интимном кругу не пойдет.

Мать стала на нашу сторону только после длительной, упорной и непрерывной борьбы со мной и особенно с самой собой. Я говорил ей, что за счастье трудового человечества бились и бьются только самые лучшие люди, которые ради этой борьбы не жалеют своей жизни, и что я хочу быть в числе этих людей и смерть и муки мне не страшны. Мать, наконец, поняла меня, и у нее самой явилось желание помогать нам в борьбе, что она и делала впоследствии по мере своих сил. Начала она с того, что стала прятать мою нелегальную литературу, предупреждать о жандарме, который начал ходить к моей тетке, торговке старьем.

А затем настал момент, когда мать стала плакать уже не оттого, что я сделался революционером-марксистом, а оттого, что я разбил ее веру в бога, веру в небесное царство, о котором она мечтала.

Заведя праздничный костюм, я стал ходить с Сашей Замошниковым на занятия к Нине Алексеевне Рукавишниковой. Явившись туда, я сразу понял, насколько невозможно было мое появление в этой обстановке в рабочем костюме. Небольшая комната Нины Алексеевны была жилищем культурного человека, а мое собственное жилье стало казаться мне теперь звериным логовом. Нина Алексеевна читала нам книги, излагающие учение Карла Маркса, и разъясняла прочитанное. Изредка приходили студент и семинарист, оставшиеся мне неизвестными.

Занятия давали очень много для изучения новой, до сих пор неизвестной мне категории людей — интеллигенции. Борьба рабочего класса была мне понятна, ибо я хорошо знал жизнь «наемных рабов». Мне сразу же бросилось в глаза отличие в обстановке жилищ, в одежде и внешнем виде интеллигентов от рабочих. Я знал, что интеллигенция подвергается той же опасности, что

и рабочие-марксисты, и не мог осмыслить причин, толкавших ее на путь революционной борьбы. Я ошибочно думал, что современная интеллигенция от гибели капитализма не выиграет, а проиграет, построение даже первой стадии коммунизма казалось делом гораздо более длительным, сложным н трудным, чем это оказалось в действительности, — я отводил на него не менее двух поколений.

Учитель Михаил Иванович Павлов был мне более понятен. Я думал, что он просто боится потерять от победы рабочего класса свое личное положение, а поэтому и советует мне ждать, когда капитализм, одряхлев, падет сам собой. Он получал тридцать рублей в месяц, имел большую бесплатную квартиру с отоплением и освещеннем, работу начинал в девять часов утра, а кончал ее в два часа дня. У него были летнне каникулы, пасхальные каникулы, рождественскне каникулы, масленица и множество праздников, свободных от труда. Летом он давал урокн, ему платили рубль за час, и жил он на даче на готовом содержании.

Скоро я узнал, что среди интеллигенции и раньше были люди, которые отрекались от личных ннтересов н во имя идей справедливости боролись за дело рабочих и трудящнхся крестьян, но как-то плохо верил в это. Среди «стариков» на заводе был слесарь Мухин, имевший связи с народовольческой интеллигенцией. Он давал мне народовольческую лнтературу. Когда я прочитал «Андрея Кожухова» и «Суд над цареубийцами», то понял, что среди интеллигенции действительно были люди, способные отдать жизнь за дело трудящихся. Я стал счнтать самоотверженную отвагу народовольцев образцом для всех революцнонеров, хотя и поннмал, что ндут они по ложному путн. Я думал, что народовольцев уже не существует в природе, но Мухин убедил меня в том, что они есть. Скоро я и сам познакомился с настоящим живым народовольцем, с молодым парнем Александром Карповичем Петровым, который приехал из Казани и работал на нашем заводе. Он приучился к работе и зимой 1894 года уже работал слесарем на несложных работах. Очевидно, кто-нибудь нз «стариков» сказал ему, что я принадлежу к оргаиза-

ции, — он часто стал подходить к моим тискам, чтобы перетянуть меня в кружок народовольцев. Вначале меня интересовал живой народоволец, но я тщетно пытался найти в нем качества Желябова, Халтурина, Кибальчича, причем почти полное отсутствие конспирации, благодушная болтливость, отсутствие квалификации при поступлении заставили меня одно время даже думать, что я имею дело с провокатором. При всех он болтал о преимуществах единоличного террора и попутно высмеивал социал-демократов. Вскоре я понял, что имею дело не с провокаторскими приемами, а с детски-наивной доверчивостью к людям и что как революционер Петров очень слаб. Он искренне верил в силу единоличного террора как средства для освобождения рабочего класса и сам был готов проводить его на деле.

Было ясно, что Петров по своей начитанности стоит значительно выше окружающей его среды. Я старался доказать ему всю утопичность методов народовольцев, но наши споры ни к чему не вели: Петров оставался на своих позициях. Я это объяснял тем, что просто он умнее и начитаннее меня и для него не авторитетны мои суждения.

Выписал он из Казани молодых парней Осипова и Коновалова, которые также поступили на завод Курбатова. Михаила Громова, Александра Барцевича и Михаила Замошникова к тому времени на заводе уже не было. В начале 1895 года на завод Доброва и Набгольц ушел и Яша Пятибратов, главная наша сила. От наседавших народовольцев приходилось отбиваться главным образом мне и Саше Замошникову: Осипов и Коновалов в споры со мной не вступали, но ко мне все чаще начал приходить снизу молодой слесарь Михаил Самылин, вступивший в кружок народовольцев. Споры с Самылиным продолжались попрежнему у моих тисков. Изредка приходил и Петров, проявлявший в спорах большую горячность. После одного особо горячего спора он пустил чурбаком в уходящего в модельную Александра Замошникова. Самылин был спокойнее, и дело кончилось тем, что он признал ошибкой свое увлечение идеями народовольцев и заявил о своем пе-

реходе на сторону социал-демократов. Я жалел, что того же самого не сделал и Петров. Он был сильнее и энергичнее Самылина. Его горячность и страстность мне нравились, но я считал, что он нуждается в большой и длительной обработке. Он так и остался народовольцем до самого своего ареста, авторитета же ни среди взрослых, ни среди подростков завоевать не сумел. На заводе он очутился в ложном положении. Попав в среду наших стойких марксистов-«стариков» и сочувствовавших им слесарей, он стал считать их сознательность плодом собственной агитации, и ему казалось, что он двигает горами. «Старики» посмеивались над ним, но оберегали, предостерегали от сыщиков. Никого, кроме Самылина, распропагандировать в народовольческом духе Петров не сумел.

Марксизм стал внедряться на заводе еще с осени 1891 года, когда образовался первый марксистский кружок. Члены этого кружка — Я. Пятибратов, М. Громов и Мухин — работали на заводе, когда я сделался марксистом. Мне известны были марксисты-«старики»: Федор Бритов, Василий Сорокин, Афанасий Кислов, Прохоров и Гладков. Агитация народовольцев не могла иметь успеха на заводе, и «старики» стали бы агитировать самого Петрова, если бы не относились к нему отрицательно за нарушение конспирации. Во время завтрака он открыто читал вслух в слесарной мастерской нелегальную литературу, что ставило под удар всю заводскую социал-демократическую организацию. В слесарной были ненадежные люди и даже предатели, как слесарь Федоров, который говорил мне, что работа дураков любит, что я от хозяина золотого кляпа не выслужу, но сам стал злейшей хозяйской собакой, когда неизвестными нам путями сделался помощником мастера механического цеха. Свою карьеру он начал с того, что выгнал с завода высококвалифицированного слесаря Познанского только за то, что тот принес себе чайник кипятку на завтрак до гудка и ел хлеб, хотя и не переставал работать.

Часто всей компанией мы отправлялись в театр. Работу кончали в семь часов вечера, а спектакль начинался в половине восьмого. Мы кое-как умывались, но

сходить домой переодеться не могли: и без того надо было спешить, чтобы успеть пройти добрых полторы версты — подняться Георгиевским съездом до кремля и пересечь Благовещенскую площадь до начала Большой Покровки.

Для балкона и галерки, куда мы только и могли ходить, была отдельная касса почти в самом верху здания, и нас нередко обирал продавец билетов, студент технического училища. Билет с благотворительной маркой стоил двадцать две копейки, но кассир иногда заявлял, что билеты все проданы и имеются только «добавочные» — по тридцать две копейки. Жалко, да и начетисто было переплачивать десять копеек, но уходить ни с чем не хотелось, и мы скрепя сердце платили лишние деньги. После я узнал, что студент был народовольцем. Господин «революционер», наверно, и не подозревал, какого труда стоили нам «добавочные» гривенники, которые он с такой легкостью перекладывал в свой карман.

Один раз нас пришло восемь человек; был с нами и Петров. Билетов не было, были только так называемые «добавочные», а у нас денег было в обрез. Петров собрал деньги и, подойдя к кассе, потребовал восемь билетов. Кассир заявил, что обычные билеты проданы, но есть добавочные по тридцать две копейки. Петров согласился взять их, а получив билеты, заплатил за них по двадцать две копейки (цену, указанную в афишах и на билетах). Кассир изобразил на лице «благородное возмущение», однако позвать администрацию театра не решился. И нас пропустили в зал. Мы поняли, что имели дело с мелким жуликом.

Я продолжал изучать рабочих, их быт, изучать молодежь и все яснее понимал, что борьба за повышение политического самосознания рабочих предстоит очень трудная и длительная. И мои мысли невольно тянулись к интеллигенции: по моему мнению, только она могла усилить и ускорить этот процесс.

Чем больше я познавал жизнь, тем отчетливее понимал, что мои знания крайне недостаточны. Теперь я уже не считал себя профессором марксизма, не думал, что московские университеты мне не нужны,

а мечтал о знающем интеллигенте, который умел бы жить интересами нас — рабочих. Я слышал имена революционеров-интеллигентов: Круковского, Сильвина, Ванеева, Григорьева *, Скворцова, Кузнецова. Мимоходом мне пришлось столкнуться с Розановым. И хотя я был развитее многих своих товарищей, все же понимать язык интеллигенции мне было очень трудно, — для этого многому надо было еще учиться.

Наступила третья весна моей работы на заводе, а я все еще числился «мальчиком», хотя у меня уже начала расти борода и я выполнял работу квалифицированных слесарей. Администрация насмешливо называла меня «мальчик с бородой», но из «мальчиков» в слесари не переводила: она соблюдала экономию.

Однажды в субботу привезли на завод лопнувший двенадцатидюймовый пароходный вал. В ночь на воскресенье кузнец и трое молотобойцев сварили его.

В воскресенье для одного токаря, который точил вал, работала машина. После обточки вала я вырубил на нем шпонку в 500 миллиметров длиной, срубил через узкую щель подточенный конец с центром и получил за это сорок копеек. Токарь и кузнец получили по рублю двадцати копеек, три молотобойца вместе — полтора рубля. Стоимость дневной работы машины определялась в двадцать пять рублей. Таким образом, ремонт вала обошелся заводу в двадцать девять руб-

* Нижегородцы М. А. Сильвин и А. А. Ванеев вступили в революционное движение со школьной скамьи. В 1893 году уехали учиться в Петербург. Входили в ленинский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». В 1895 году арестованы одновременно с В. И. Лениным и сосланы в Восточную Сибирь, где А. А. Ванеев умер от туберкулеза. М. А. Сильвин после Октябрьской революции работал в Наркомпросе, преподавал.

Михаил Григорьевич Григорьев появился в Нижнем Новгороде осенью 1889 года из Казани, откуда был выслан как участник марксистского федосеевского кружка. В Нижнем Новгороде дважды—в 1893 и 1894 годах — встречался с В. И. Лениным. Организовал в Нижнем Новгороде первый рабочий марксистский кружок — именно в него входил учитель П. А. Заломова, Я. С. Пятибратов. Социал-демократическая работа М. Г. Григорьева в Нижнем Новгороде была прервана полицейской высылкой его весной 1894 года в Самару.

лей тридцать копеек, а завод взял за него сто восемьдесят рублей. Вместо меня надо было ставить хорошего слесаря с жалованьем в рубль двадцать копеек, но завод не отказался и от восьмидесяти копеек, которые он выгадал на мне. Этот случай был очень показателен, и я использовал его в своей агитации.

Вскоре произошло событие, надолго занявшее внимание рабочих. Саша Замошников получил целую кучу гектографированных прокламаций, зовущих к борьбе с эксплуатацией. Мы решили разбросать их по Казанскому съезду — по нему шли рабочие, жившие на окраинах Нижнего Новгорода, и по нижней главной дороге, где проходил поток рабочих, живших в Кошелёвке, в Печёрах и в прифабричной слободке. Саша взял на себя съезд, я — дорогу. Прокламации решили разбросать перед рассветом. Была темная облачная ночь. Я разбрасывал прокламации по сторонам дороги. Пройдя четверть пути и только что прикрепив лучиной одну из прокламаций к поленнице, я вдруг услышал разговор и увидел двух людей, идущих навстречу. Это были полицейские. Первым моим побуждением было броситься назад и сорвать прокламации с поленницы, но я быстро сообразил, что неожиданный поворот назад обратит их внимание на меня. Поэтому я быстрее пошел им навстречу и шагов за десять до встречи остановился у поленницы, якобы по нужде. Мой расчет оправдался. Полицейские сосредоточенно рассматривали меня и прошли мимо прокламации, не заметив ее. Я разложил остальные прокламации вдоль пути до самого завода и пошел домой, когда небо начало сереть. Заснуть я не мог и успокоился только утром, когда узнал, что прокламации попали по назначению. Саша Замошников тоже удачно выполнил поручение. Все читали прокламации.

Старик Лука Лебедев, отец нашего товарища Леонида, принес поднятую им прокламацию в слесарный цех и прочитал ее там вслух. Об этом стало известно заводскому начальству, и на несчастного старика обрушились все громы и молнии. Его подвергли перекрестному допросу. Лука Лебедев носил очки, его сизый нос имел форму сливы, и его интересы своди-

лись к выпивке. Жандармы оказались умнее и оставили старика в покое. Но он долго сердился и ругал молодежь: «Политика проклятая! Вешать всех вас надо!»

Такого мнения был не один Лука. Но когда в 1897 году вышел закон об ограничении рабочего дня и на заводе Курбатова стали работать десять с половиной часов в день, то все вспомнили прокламации, на которых была изображена синяя ласточка, и радостно говорили: «Все это птички сделали!» Появление прокламаций произвело впечатление и вызвало длительные разговоры. Я несколько дней ходил полный радости за удачу с прокламациями, а за преодоление маленького затруднения с полицейскими стал чувствовать к себе даже некоторую долю уважения.

ЗОЕЧКА

Однажды, воспользовавшись свободным от работы воскресеньем, я отсыпался и встал в десять часов утра. Мать разбирала узел старья. Подвязанные тесемкой очки спустились у нее с переносицы, она смотрела поверх очков, на лице блуждала еле уловимая усмешка. Я понял, что она хочет сообщить что-то важное, и насторожился. Глядя на меня лукаво испытующим взглядом, она говорила:

— А я пришла из Вдовьего дома, накупила старья у знакомых вдов. Была и у фельдшерицы Стеблевой. Чай, помнишь ее дочку Зоечку, которая носила тебе книги, когда ты лежал в больнице? Вот ее старые юбки, вот шесть пар чулок, вот кофточки. Красавица девушка выросла! Коса толщиной в руку, сама румяная и беленькая, как снегурочка. Чай я у них пила. Зоечка нарядная, в кисейном платье, прямо как ангел. Локотки точеные. Оперлась ими на стол, улыбается. А против сидит красивый студент в форме. Вдова мне рассказала, что одного ребенка уже в Москву, в воспитательный дом, свезли, чуть ее из гимназии не выгнали, да доктор свидетельство дал о болезни. Что-то незаметно, а вдовы говорят — опять беременна. И младшая родила от сына швейцара. И тоже в воспитательный

дом отправила. Скрыть не удалось, из гимназии ее выгнали.

Слова матери причиняли мне боль. Очевидно, у нее были какие-то смутные догадки относительно моих чувств к Зоечке, и она хотела их проверить. Но ее пытливый взгляд ничего не заметил. Я равнодушно расспрашивал, равнодушно делал замечания. А ночью, лежа на полу под одним одеялом с братом, я напрягал волю, чтобы не встать и не поцеловать старые чулочки. Помнил ли я Зоечку? Да, я ее помнил. До сих пор, правда, мне казалось, что вместе с прошлым моя — в двенадцать лет — любовь к девочке-полуребенку забыта. Теперь пришлось сознаться, что эта любовь росла и выросла вместе со мной. Прошлое не умирало и забыто не было. Мне хотелось увидеть ее еще раз, посмотреть, какой она стала, меня тянуло ко Вдовьему дому.

Я решил использовать многотысячное массовое шествие — встречу иконы Оранской божьей матери. Это было на пасхальной неделе в нерабочий день. Я плотно позавтракал, взял с собой кусок хлеба и отправился на другой конец города. Погода стояла теплая, сухая, люди собирались группами со всех сторон города. Ходили встречать икону из-за любопытства и совершенно равнодушные к религии люди, даже настоящие атеисты. Для молодежи встреча иконы была интересной прогулкой со случайными и неслучайными встречами.

Я слонялся вдоль ограды Вдовьего дома, дожидаясь выхода Зоечки, моей Зоечки, как упрямо называл я ее в своих мыслях, хотя к этому никогда не было и не могло быть никаких оснований. Скоро она вышла из ворот вместе с высокой няней-сиделкой. Мельком взглянув на них, я прошел мимо быстрым шагом, стремясь скорее дойти до толпы, которая ожидала иконы. Я узнал Зоечку, хотя из девочки она стала уже вполне развившейся женщиной. Белое платье делало ее очень красивой. Нянька несла на руке ее летнее пальто. Тугой жгут золотисто-белокурых волос стал толще, длиннее, серые глаза раскрылись, стали больше, ярче. Прежним остался чуть вздернутый носик и чуть заметный след оспы. Она совсем не стала красавицей,

как говорила мать, но мне было очень трудно отойти от нее.

Икона была уже близко. Женщины ложились в пыль на пути, чтобы икону пронесли над ними. Монахи и попы начали молебен. Зоечка пробралась к самой иконе, встала в пыль на колени и кланялась до земли. Я стоял позади в трех шагах. Она заметила меня. Мне больно было смотреть на ее унижение, хотя я понимал, что она хочет остаться незамеченной.

Молебен кончился. Белое платье запачкалось в пыли. Зоя взяла у няньки пальто, надела его. Перемéна произошла разительная. Исчез сверкающий на солнце наряд, скрылись красивые формы тела, и передо мной была девушка, каких тысячи. Она шла с нянькой шагах в десяти от меня и не оборачивалась назад. Так дошли мы до ворот Вдовьего дома. Нянька повернула налево, Зоечка направо. Я пошел за ней и нагнал ее у крыльца, чуть прибавив шаг. Следом за ней вошел я через двойную дверь. Она обернулась и, с ужасом взглянув в мои глаза, стрелой бросилась по лестнице, минуя второй этаж, куда ей надо было идти.

Я, смущенный и обескураженный, зашел к знакомым во второй этаж, а потом поднялся в четвертый этаж к школьному товарищу Коровину, посидел у него и отправился домой.

Мать тоже была во Вдовьем доме и, вернувшись, спросила меня:

— Ты, Петя, заходил к Екатерине Ивановне?

— Заходил, а что?

— Она говорила, что к ней прибежала вся в слезах дочка фельдшерицы Зоечка и жаловалась, что за ней гнался какой-то пьяный мужик.

— Какое мне дело до пьяных мужиков! Ты же знаешь, что я никогда не пью.

Через неделю я сидел в новом театре в самом последнем ряду галерки. Слева от меня оказалось пустое место. И вот перед самым поднятием занавеса мимо меня прошла благоухающая, одетая в белое кисейное платье Зоечка Стеблева и села рядом со мной. Я отодвинулся насколько мог, чтобы не запачкать платья соседки своей рабочей блузой. Я ни разу не взглянул

на нее, но сидел, наслаждаясь своим случайным счастьем. Во время антракта она ушла и больше не вернулась. Я увидел ее уже внизу, в партере. Зоя показывала рукой в мою сторону знакомому студенту-кассиру, любителю «добавочных» гривенников. Студент посмотрел на меня и, по-актерски сверкая глазами, стал взмахивать головой, как лошадь, которую бьют кнутовищем по морде.

С виду оба они были красивы. Но и кисейное платье, и Зоечка, и ребенок, отправленный на «фабрику ангелов», и «добавочные» гривенники, и народоволец-студент — все это смешалось для меня в этот момент в одну грязную кучу.

И все же моя любовь не умерла. Она осталась, как, вероятно, всякая детская любовь, яркой солнечной страницей юности на всю жизнь. Но в тот момент я ясно понял, что в жены мне нужен не прекрасный трепещущий ангел, склоняющийся перед божеством, а единомышленник по борьбе и бестрепетный мужественный товарищ.

ДРУЗЬЯ И ВРАГИ

Был конец апреля 1895 года. Мы ждали маевки, которую предполагалось провести в первое майское воскресенье.

Маевка эта состоялась на Моховых Горах, у опушки леса на берегу Волги. Народу собралось около шестидесяти человек, в большинстве — рабочие. Была и интеллигенция, но фамилий не называли, и я не мог никого запомнить, хотя меня особенно интересовала именно она. Говорили, что среди интеллигенции были и народовольцы, но я не смог их отличить по выступлениям.

Мы вели себя, как в свободной стране: жгли костры, кипятили чай, говорили речи и без всякого стеснения пели революционные песни. Я теперь был уже опытен и ничему не удивлялся. Маевка вызвала большой подъем, мы почувствовали свою силу, и долго после этого мне помнилось поднятое на этой маевке красное знамя.

С осени 1895 года с нашим социал-демократиче-

ским кружком, в который входили Николай Афанасьев, Леонид Лебедев, Григорий Козин, Александр Замошников и я, стал заниматься сын парикмахера, студент Марышев. У Николая Афанасьева была своя комната, имевшая отдельный ход из сеней. Мы иногда собирались в ней. Родители Афанасьева нас не беспокоили. Лишь однажды дверь соседней комнаты раскрылась в самый разгар занятий, и к нам ввалился котельщик, отец Афанасьева. Должно быть, резкая перемена в жизни сына возбудила в отце какие-то смутные подозрения и опасения. Черный, кривой, как и сын, он, не поздоровавшись, недоверчиво и угрюмо обвел нас своим единственным глазом. Подойдя к Марышеву, он обратил свое внимание на тетрадь рукописного «Коммунистического манифеста».

— Что это у тебя за книга? Дай, я посмотрю!

— Это «житие святого великомученика Георгия-победоносца», — с готовностью ответил Марышев, подавая тетрадь безграмотному старику. Отец Афанасьева взял тетрадь вверх ногами, долго и молча разглядывал, а потом положил на стол и ушел. Больше он уже не заглядывал в комнату сына.

Видимо, по неопытности студент Марышев применил в своих занятиях с нами самый неудачный метод. Низко склонившись над тетрадью, лежавшей на столе, он монотонно читал ее, не обращая на нас никакого внимания. Мы работали все дни, работали три обязательные ночи в неделю и почти все праздники, и нам неудержимо хотелось спать. Я таращил глаза, и мой мозг улавливал только отдельные фразы, вне их связи. Невольно впадали в дремоту и мои товарищи. Все мучительно боролись со сном, просыпались, слушали и вновь дремали.

Как-то выдалось свободное воскресенье, накануне которого у нас были занятия, и я попросил Марышева, чтобы он дал мне тетрадь почитать дома. Хорошо выспавшись, я целый день читал «Коммунистический манифест» и усвоил из него гораздо больше, чем за все предыдущие занятия с Марышевым.

Моя семья жила уже в новом доме. Старый дом, построенный прадедом, врос в землю, сгнил больше

чем наполовину. Жить в нем стало невозможно, и вдова моего дяди, тетка Марья, покинула его, выехала на квартиру.

Хотя дом принадлежал моему отцу, но в нем все время жили его братья с семьями, и я во избежание всяких недоразумений предлагал продать его с торгов на дрова и разделить вырученные деньги между семьями братьев отца. Мать наотрез отказалась последовать моему совету, говоря, что дом принадлежал отцу и заднюю половину его, построенную самим отцом, ломать жалко. Я доказывал матери, что тетка Марья знакома с жандармом и следит за мной, а если мы возьмем себе остатки сгнившего дома, жандармы непременно вселят в нашу пристройку тетку Марью и мне придется бежать из дома. Мать ничего не слушала. Она купила сруб из тонких еловых вершин, заняла у родственников денег и, наняв плотников, устроила более вместительное жилище.

Все вышло так, как я говорил: жандарм написал тетке Марье прошения и к земскому начальнику и в волостной суд; суд признал за теткой Марьей право наследства на старый дом, а так как моя мать его сломала, то суд постановил вселить тетку в пристройку, построенную моим отцом. В нашем старом жилье поселилась тетка Марья с дочерью и двумя сыновьями.

Наше новое жилище было в три сажени длиной и в две сажени с аршином шириной. Оно было настолько просторно, что у нас можно было устраивать даже вечеринки с танцами. Места хватало всем, и я с братом спали теперь уж не на полу, а сестра получила возможность брать заказы на стежку и пошивку ватных одеял. Она шила целыми днями, чтобы заработать себе на приданое, и раньше двенадцати часов ночи не ложилась. Мать тоже допоздна шила и перешивала из всякого старья детские пальто и платьица.

К этому времени мать уже не отговаривала меня от революционной работы, не плакала, а сама прятала нелегальную литературу, сама получила от Ивана Павловича Ладыжникова тюк прокламаций, запакованных в рогожку, и отвезла его в Иваново-Вознесенск во время стачки.

Младший брат Александр поступил на завод Курбатова в модельный цех учеником. Одна из младших сестер ушла в ученицы к портнихе. Мы остались впятером и жили мирно и спокойно.

Но к тетке стал захаживать жандарм, давал ей деньги и поручал следить за мной. Тетка была глупа и взбалмошна. Она торговала старьем, покупаемым у татар, шить не умела и завидовала моей матери, которая, перешивая старье, зарабатывала больше, а кроме того, подрабатывала и как повивальная бабка. Тетка ссорилась со своей дочерью, сыновьями, зятем, со всеми соседями. Иногда она начинала кричать на всю улицу и грозить матери, что всех ее сыновей и дочерей «пошлет по Владимирке считать березки», то-есть сошлет на каторгу. Я не мог устраивать в своей квартире собраний, не мог даже просто пригласить к себе товарищей, все это сейчас же стало бы известно жандарму. Впрочем, угрозы тетки были для меня даже полезны: они заставляли меня быть осторожным и у себя дома — приучали к конспирации.

К Афанасьеву я мог бы дойти в пять минут, но я всегда шел от дома в противоположную сторону и делал крюк, приходил на занятия тоже с противоположной стороны. Жандарму так и не удалось накрыть нас.

Однажды, когда мы с Сашей Замошниковым шли с работы, — а ходили мы с ним всегда вместе, так как были очень дружны, — он сообщил мне, что студент Марышев больше к нам на занятия не придет и что вместо него с нами будет заниматься студент Александр Африканович Кузнецов, сын богатого купца.

Замошников жил близко от завода, и, оставшись один, я шел и думал о студенте Кузнецове. Меня поразило то, что он был сыном богатого купца, поразило и его необычайное отчество. Африку, громадный материк, я знал гораздо лучше святцев — я и не подозревал, что существует имя Африкан.

Марышев был сыном парикмахера, а парикмахеров я считал ремесленниками, и поэтому мне было понятно, что сын парикмахера оказался на стороне рабочих. Но как сын богатого купца Африкана может быть

против фабрикантов — было понять гораздо труднее. В моем мозгу вспыхивали слова революционной песни, которую мы любили петь:

На купцов, кулаков, на богатых,
Да на злого вампира царя!
Бей, руби их, злодеев проклятых,
Засветись лучшей жизни заря!

Я понимал слова песни буквально, и всякий раз, как мы ее пели, меня охватывала злоба и я представлял себе, как мы рубим кулаков, купцов, помещиков, фабрикантов, как мы рубим царя. А тут сын богатого купца, да к тому же еще Африкана. Имя Африкана у меня бессознательно связывалось с каким-то особенно большим богатством, как имя Креза — лидийского царя. И я думал: «Если сын Африкана с нами, то он должен будет рубить Африкана-отца».

Всякое иное положение не укладывалось в моем мозгу, а поэтому личность студента Кузнецова казалась мне необычайной, почти противоестественной. Я с громадным нетерпением ждал встречи с ним.

Кузнецов действительно оказался интересным человеком. Я встретил в его лице того самого интеллигента, о котором мечтал: интеллигента, умеющего говорить понятным для рабочих языком. Такой непринужденной простоты, такой глубокой, казалось мне, искренности я еще у интеллигентов не встречал.

Уже при первой встрече с ним у нас появилось такое ощущение, что мы были знакомы долгие годы, — до того он показался нам близким и своим.

— Дело освобождения рабочих должно быть делом самих рабочих! — произнес студент Кузнецов, и эти слова остались основным стержнем всей его последующей работы с нами.

Я так сразу и понял, что он пришел не заниматься с нами, а именно работать, перелить в нас частицу своего собственного *Я*.

Мы все так же работали и праздники и ночи, все так же утомлялись, все так же мучительно хотели спать, но всякий раз при беседах с ним нас охватывал нервный подъем, сонливость исчезала бесследно, и уже одно это казалось необычайным, противоестественным.

У меня не было зависти к Кузнецову, но страстно хотелось научиться вот так же свободно и сильно управлять всеми клетками мозга рабочих-революционеров. Я негодовал на свою тупость, на свою ограниченность, на свое невежество, из-за которых не сумел одержать победы в идейной борьбе с Александром Петровым. Беседы со студентом Кузнецовым глубоко взбороздили наши мозги, оставили яркий, незабываемый след в нашем сознании.

Зима близилась к концу, завод был завален работой. Но хозяевам невыгодно было расширять его, так как это требовало больших расходов; они предпочитали заставлять рабочих под страхом расчета работать праздники и ночи. По цехам то и дело бегали погонщики — помощник механика, мастера, помощники мастеров и т. д. Меня послали работать на отделку кривошипов для паровой машины, которую готовили для Всероссийской нижегородской выставки 1896 года. Я работал невдалеке от дверей, которые то и дело раскрывались. Было холодно, но работа согревала, я работал в одной нижней рубашке с засученными рукавами. Слесарный мастер то и дело подбегал ко мне и кричал: «Давай скорей! Давай скорей!» Он был старовер, с длинной серой бородой сосульками, за концы которых всегда дергал, когда сердился. Я работал на самой дороге между станками, и ни разу мастер не прошел мимо меня молча. Моя спина, несмотря на холод, была вся в поту, а он все твердил: «Давай скорей!»

Я озлился, положил слесарную пилу на кривошип, а сам сел на козлы.

Мастер издали заметил, что я не работаю, и налетел на меня, как коршун. Еще шагов за десять он дергал себя за бороду, кричал:

— Чего сидишь? Работай! Давай скорей!

Он был уже около меня. Я сидел и улыбался. Это его окончательно взбесило. Дергая себя за бороду и тряся головой, он кричал, как будто бы я был от него за версту:

— Что смеешься?! Праганю! Ей-богу, праганю! Побожился — праганю!

Я встал и сам обрушился на мастера:

— Ты напялил на себя кучу теплых одежек, бегаешь по цеху, и тебе холодно, а я в одной рубашке, и она вся мокрая! Я работаю за сорок копеек в день, и зимой, в холод, пот льет с моего лица! Как еще можно работать?!

Мастер не ожидал такой дерзости, растерялся и с невнятным ворчанием отошел прочь, дергая себя за бороду. Но с тех пор перестал на меня кричать. По природе он был человек вообще не злой, сам был слесарем, потом машинистом на пароходе. Старик даже не пожаловался на меня механику. Давая мне второй кривошип, он уже примирительно говорил: «Механик торопит! Машину надо закончить к выставке. Как кончишь кривошипы, я тебя опять переведу на легкую работу, наверх, на медные краны. А теперь давай скорее».

Меня не нужно было подгонять. Я гордился, что наша машина попадет на выставку, и мне было лестно, что кривошип, вышедший из моих рук, блестит как серебро.

Приближался май 1896 года. Ввиду усиленной слежки маевка была отложена. Третьего мая по старому стилю был день моего рождения, — он совпадал с моими именинами. Я решил в этот день устроить у себя вечеринку, чтобы ввести в заблуждение сыщиков и жандарма, который так интересовался моей жизнью. Для большей убедительности я поступился своими принципами и купил для товарищей и девушек несколько бутылок вина и немного водки. Из парней были приглашены только свои: Михаил и Александр Замошниковы, Афанасьев, Леонид Лебедев. Местные парни были сильно раздражены и говорили, что ни одна из девушек на мою вечеринку не пойдет. Они были взбешены, когда на эту вечеринку пришли самые красивые, самые гордые и неприступные девушки, не поддававшиеся местным соблазнителям. Особенно был недоволен модельщик Ларька, которому не хватало на руках пальцев, чтобы сосчитать девушек, обманутых им. Обманутые девушки делали аборты, рискуя жизнью, или выходили замуж за никчемных парней, за

стариков. Сам Ларька женился впоследствии на канавинской проститутке с большим приданым.

Вечеринка началась очень оживленно. Танцы сменялись играми с поцелуями. Парни и неприглашенные девушки смотрели в окна и злились. Подсматривание в окна было обычным явлением, но скоро границы были перейдены, стали раздаваться грубые выкрики, стук в окна. Я был возбужден, вышел и резко спросил: «Кто здесь стучит в окна? Может быть, кому срочно нужна повивальная бабка? Я скажу матери, и она сейчас выйдет».

Мои слова встретили молчанием, но хулиганство прекратилось. Хорошенькая соседка, девушка с красивыми серыми глазами, оскорбленно повернулась и ушла. Я не понял причины ее обиды. Мне только после сказали, что она беременна от Ларьки и выходит замуж за старика.

Прошло полчаса. Танцы были в полном разгаре, гармонист показывал свое искусство. Водки и вина было столько, что парни не опьянели, а только разгорячились. Все были оживленны и веселы, танцевали польку. Я не мог танцевать, так как задыхался от больного сердца, но с большим удовольствием смотрел на танцы других. Все уже забыли про хулиганов, как вдруг зазвенели разбитые стекла, мимо голов танцующей пары пролетел кирпич, ударился в стенку печи и раскололся надвое. Мы разом выскочили на улицу, но никого не увидели. Кто-то крикнул:

— Это Ларька!

Веселье продолжалось до рассвета. Девушки разошлись по домам, а мы стали обсуждать хулиганский поступок. Товарищи непременно хотели отомстить. Я же говорил, что самое лучшее плюнуть на это дело. Товарищи горячились и не хотели меня слушать. В пятом часу утра мы пошли на завод, ни до чего не договорившись.

Волга широко разлилась, залила дорогу, подступила к домам прифабричной слободки. У берега каждое воскресенье катались на лодках. Приходили разряженные девушки и парни, гремела музыка. Лодки поднимались вверх по течению, плыли вперегонки над

затопленной дорогой, а потом, соединившись в большой караван, уже по течению спускались до Печёрского монастыря.

В тот день по случаю коронации царя завод не работал. Я с Лебедевым пошел к Афанасьеву договориться насчет катанья. Почти у самого дома Афанасьева стояли привязанные лодки. В одной из них стоял Ларька. Афанасьев вышел из дома с братьями Замошниковыми. Михаил Замошников увидел Ларьку, прыгнул в его лодку и крикнул тому в лицо:

— Ты бросил кирпич в окно Заломова, подлец!

Размахнувшись, он, на глазах собравшейся молодежи, дал Ларьке пощечину. Ларька побледнел, но не сказал ни слова и поплыл прочь от нас.

Под вечер я пошел к Александру Замошникову. Товарищи уже все были в лодке и сообщили мне, что Ларька поставил ведро водки рабочим завода Зобнина, и те выедут на трех лодках с баграми топить нас. Я предложил отменить катанье, но товарищи уперлись и заявили, что если я трушу, то могу не ездить.

— И вы поедете втроем против трех лодок?

— Поедем!

— А что же вы хотите этим доказать?

— Мы докажем, что не трусы.

— И вы думаете, что от этого будет польза для революции?

— Не хочешь, так не езди. Мы поедем одни.

— Ну ладно. Я поеду с вами. Но уж если драться, так драться.

Мы вернулись в дом Саши Замошникова, взяли там два топора и два больших отточенных костыля, которые могли заменить кинжалы, и поехали кататься. Катались на лодках до темноты, но наших «врагов» все не было. Я спросил:

— Где же зобнинцы?

— Они за Большим Печёрским островом. Хотели заманить нас туда и там утопить.

— Значит, спрятались. Кто же кого боится? Мы их или они нас?

— Надо ехать к ним за остров.

—Ну, уж это будет полнейшим идиотизмом! Ведь мы же не собирались на них нападать? Подумайте-ка, бойцы за революцию, рабочие курбатовского завода, «славные герои» — Замошников Александр, Лебедев Леонид, Афанасьев Николай и Заломов Петр — решили сложить свои головы в бою с пьяными зобнинскими рабочими во имя разбитого о печку кирпича?! Слава о них будет сиять в веках! Мы уже доказали сами себе и всем катавшимся, что мы не трусы и не боимся нападения. Довольно глупостей! Едем к берегу и пойдемте в город смотреть иллюминацию.

Казавшееся героическим стало выглядеть смешным и глупым. Товарищи отнесли «оружие» в дом, и мы пошли шататься по городу. После никто не вспоминал об этом случае.

Сыщик Кульбицкий, следивший за нами, сделался чрезвычайно нахален. В столкновениях с Александром Замошниковым он открыто при всех грозил: «И для льва найдется клетка!» Он лез всюду, где были мы.

Однажды в обед, перед свистком с перерыва, мы стояли на деревянной площадке перед заводом и смотрели вниз, где неслись волжские волны. Появился Кульбицкий и начал задирать нас. Обращаясь к Замошникову и Лебедеву, я в шутку сказал: «Будет с ним возиться, товарищи. Бросьте его в Волгу!» Мигом взметнули они его кверху и швырнули в воду, удержав за платье. Поднятый из-за перил и поставленный на ноги, сыщик был бледен, весь дрожал и сейчас же отошел от нас. После этого он стал менее назойлив, но в стенах завода продолжал упорно следить за нами.

ЗНАКОМСТВО С ЖАНДАРМАМИ

1896 год, год Всероссийской нижегородской выставки — памятный год для марксистских организаций Сормова и Нижнего Новгорода.

С небывалым подъемом прошло в сормовском Заволжье празднование Первого мая. Под красным знаменем собралось до сотни бойцов революционного марксизма.

Здесь были заводские рабочие, наборщики типогра-

фий, были интеллигенты-марксисты, каждое слово которых мы ловили.

Речи, революционные песни.

Мы были опьянены своей силой, и цель наших пламенных мечтаний — вооруженное восстание против царизма — казалась нам близкой.

Эта маевка была нашим триумфом. Но среди нас, очевидно, был провокатор, и мы жестоко за нее поплатились. Жандармерия ждала на выставку царя и с особым усердием искала опасных; нас держали на мушке, все мы были выслежены. Наша организация почти вся целиком очутилась в тюрьме.

Меня и немногих других оставшихся на воле мучила совесть, было чувство какой-то вины перед теми, которые оказались за железной решеткой. Что они будут думать о нас? А вдруг у них возникнут сомнения, подозрения об измене? И от этой мысли краска стыда заливала лицо, шею, уши. И мы клялись! Клялись без слов, — мы видели эту клятву в глазах друг друга, чувствовали ее в крепких рукопожатиях: надо работать, надо заменить тех, которые вырваны из наших рядов.

...В цех является жандарм, подходит к моим тискам и властно бросает:

— К двенадцати часам явись к жандармскому полковнику в Грузинский переулок.

Подробно расспрашиваю адрес, нарочно заставляю жандарма несколько раз повторять одно и то же. Иду домой. Дома прежде всего тщательно изучаю свое лицо перед зеркалом. Я беру голландской сажи с маслом и мажу себе лицо, сознательно сгущая краски, пачкаю сажей руки. Перемена разительная. Сжимаю пальцами нос, пальцы, естественно, отпечатались на ноздрях. Запихиваю глубоко в нос по маленькому кусочку грязной ваты, дыхание сильно затрудняется, полуоткрывается рот, и я уже не могу держать его закрытым. Из зеркала на меня смотрит положительно придурковатое лицо. Теперь я вполне доволен и в своем промасленном, заплатанном и грязном костюме иду на первое свидание с жандармским полковником Кузубовым.

Жандармы обыскивают меня и пропускают в кабинет полковника. Крупная, массивная фигура, большая голова, белое, полное, красивое лицо, большие черные проницательные глаза. На столе лежит револьвер. «Ага! Значит, боишься». В голове мелькает мысль: «Это он бросил в тюрьму всех моих товарищей». Волна слепой ярости поднимается в глубине сознания.

— Подойди ближе! Садись сюда!

Я робко подхожу, нерешительно останавливаюсь около стула. И снова раздается холодный, спокойный голос:

— Садись на стул!

Я неуверенно сажусь на самый кончик стула.

— Пододвинься ближе! — Я чуть подвинулся. — Еще ближе! К самому столу! — Я подвигаюсь еще и упираюсь животом в доску стола. Полковник молча смотрит мне в глаза.

— Ты знаешь Нину Алексеевну Рукавишникову?

Я шмыгаю носом и вытираю его указательным пальцем правой руки.

— Не знаю. Не слыхал такой фамилии.

Полковник откидывается назад, впивается в меня взглядом.

— Вот она! — На стол ложатся карточки той, которая знакомила нас с учением Маркса и Энгельса. Я наклоняюсь и рассматриваю.

— Знаешь ее?

— Нет, не знаю, никогда не встречал.

Снова холеное лицо наклоняется ко мне, и большие черные глаза стремятся заглянуть в глубину моего сознания. Но я уже убедился, что моя маска непроницаема.

— Александра Замошникова знаешь?

— Знаю. Он работает в модельной, недалеко от моих тисков.

Полковник цедит:

— Ты ходил с ним по вечерам осенью 1894 года на Ковалихинскую улицу к Нине Алексеевне Рукавишниковой изучать преступное учение Маркса?

— Так я же вам сказал, что никакой Рукавишниковой не знаю! Ведь если бы я к ней ходил, то как же

бы я мог ее не знать? А с Сашей Замошниковым я ездил по субботам за Волгу на ночь ловить рыбу, — у него есть лодка.

— Николая Афанасьева знаешь? — снова мне предъявляется карточка.

— Знаю. Он болторез, на тисках рядом со мной работает.

— Студента Марышева, сына парикмахера, знаешь? Вот он!

Новые карточки падают на место убранных. Я совершенно равнодушен. Марышев для меня не существует, но я внимательно рассматриваю его карточки и, вытерев нос, вяло отвечаю:

— Не знаю.

— Нет, ты его знаешь!

— Откуда же я могу его знать? Я ведь не студент и не парикмахер, а рабочий.

— Ты ходил к Николаю Афанасьеву осенью 1895 года с Александром Замошниковым, а студент Марышев читал вам «Коммунистический манифест».

— Нет, я к Николаю Афанасьеву не ходил, а вот когда был именинник, то нанимал его к себе на вечеринку играть на гармони, и это было не в 1895 году, а в 1896 году, 3 мая.

— Студента Кузнецова знаешь? Вот его карточки.

— Не знаю. Я же вам сказал, что я рабочий. Откуда я могу знать студентов? Студенты на заводе не работают.

— Ты был членом преступного кружка, в котором занимался студент Кузнецов.

— Я не член, а слесарь и работаю на заводе Курбатова. Что за преступные кружки бывают, не знаю и прошу вас, ваше благородие, меня отпустить, а то скоро гудок, я опоздаю на работу, и мастер будет меня ругать.

— Можешь итти, — неожиданно закончил допрос полковник.

Я вышел из кабинета, но жандармы не хотели верить, что полковник отпустил меня, и разрешили итти лишь после того, как получили приказание от него самого.

Я слышал и раньше, что студенты Марышев и Кузнецов, не выдержав одиночного заключения, выдали всех рабочих, с которыми сами же занимались; теперь я убедился в этом сам. Шевельнулось гадливое чувство по отношению к Марышеву и Кузнецову. Кузнецова мы особенно ценили. В его кружке были Николай Афанасьев, Александр Замошников, Леонид Лебедев, Григорий Козин и я.

Кузнецов ярко и увлекательно излагал нам основы учения Карла Маркса, и мы не сомневались в его искренности. Сын богатого купца, он сам предупреждал нас, что единственным революционным до конца классом является пролетариат, а либерально-буржуазная интеллигенция изменит, предаст нас.

— Вот к вам идут сейчас студенты, курсистки, инженеры, чиновники, всякие служащие, гимназисты, но я убежден, что большинство из них предадут вас, как только вы шагнете дальше того предела, который намечен ими как конечная цель. Они хотят завоевать власть с помощью пролетариата, а если пролетариат одержит победу — сделаются вашими злейшими врагами.

Эти прямые слова заставили с еще большей силой верить Александру Кузнецову. И вот все эти слова подтверждались на примере его самого, оказавшегося изменником! Разочарование в интеллигенции было тяжелым ударом для нас. Думалось: уж если он не выдержал, он изменил, то другие тем более изменят. Надо самим учиться, самим организовывать пролетарские массы.

Очень быстро и больно пришлось нам ощутить отсутствие интеллигенции. Когда я пришел на завод из жандармского управления, то все от меня отшатнулись, как от зачумленного. Даже некоторые члены нашей организации — рабочие лет сорока—сорока пяти, «старики», как мы их называли, были настолько терроризированы, что не решались заговорить со мной. Учиться? Но чему, как? Стал брать из народной библиотеки книги и в немногие свободные вечера перечитал Диккенса, Золя, Виктора Гюго. Времена были трудные, не было никакой политической литературы,

не осталось товарищей, в пятнадцати шагах от меня работал сыщик Кульбицкий. Особенно же недоставало тех маленьких книжечек, которые так жадно читала молодежь.

СНОВА В ОРГАНИЗАЦИИ

Молодежь понемногу начала по отношению ко мне «оттаивать». С некоторыми я иногда удил рыбу, давал читать легальные книги: «Спартак» Джованьоли, «Углекопы» Золя, «Кола ди Риэнци» Бульвера, «Через 100 лет» Беллами, беседовал с молодежью. Но тут началась травля со стороны помощника механика, со стороны мастера, прямые угрозы увольнением. Сыщик доносил, что вокруг моих тисков собирается молодежь, помощник механика ругал меня лодырем, грозил выкинуть с завода.

Так тянулось до весны 1897 года. В один из вечеров, после окончания работы, у ворот завода меня встретил Василий Александрович Ванеев *, мой бывший школьный товарищ. О Ванееве я слышал как о революционном работнике и отнесся к нему с полным доверием. Через него я познакомился с Зинаидой Павловной Невзоровой, а та познакомила меня со своей сестрой Софьей Павловной Невзоровой-Шестерниной.

Сестры Невзоровы произвели на меня ошеломляющее впечатление. Молодые, красивые, жизнерадостные, яркие, смелые, умные и образованные, они были совершенно не похожи на тех женщин, с которыми мне до сих пор приходилось сталкиваться. Предательство Марышева и Кузнецова сделало меня недоверчивым к интеллигенции, но в этих девушках не было никакой фальши, никакой неискренности. И все же возникали сомнения. Чего им надо? Зачем они идут к нам? Я бы, пожалуй, скорей им поверил, если бы они были менее привлекательны, если бы они были некрасивы. Со стороны красивой девушки-работницы увлечение революционной борьбой было бы для меня понятно, так как

---

* Брат А. А. Ванеева (см. стр. 32).

она несет ту же долю, что и рабочий. А интеллигенция?

Мы, молодежь, меж собой говорили: «Все мы погибнем в борьбе, но наши внуки завоюют конституцию и свободу». Нам казалось, что рабочий класс в России победит только тогда, когда вырастет и количественно и политически и будет иметь такую же мощную рабочую партию, как в передовых европейских странах. Что же касается эпохи диктатуры пролетариата в России, то мы даже и не мечтали дожить до нее. Ясна нам была и роль крестьянства. Мы понимали, что без помощи крестьянства рабочие победить не смогут, а поэтому имеющие связь с деревней вели пропаганду и среди крестьян. Моя сестра, жена Козина, Анастасия Андреевна вела пропаганду среди крестьянской молодежи, и в ее доме, в селе Печёрах, собиралось человек по двадцать крестьянских парней. Григорий Иванович Гарнов по большим праздникам ездил в деревию Леньково Макарьевского уезда, где агитировал крестьян. Его старший брат, крестьянин Степан Иванович Гарнов, за агитацию среди крестьян был арестован и, просидев три месяца в тюрьме, в одиночном заключении, сошел с ума. У нас, молодых рабочих, был уговор вести революционную пропаганду в армии, когда заберут в солдаты. Такую пропаганду среди солдат вел мой брат Александр Андреевич Заломов, пробывший в царской армии пять лет. За такую пропаганду попал в дисциплинарный батальон взятый в солдаты после отбытия административной высылки Михаил Николаевич Замошников.

Но отношение к интеллигенции было куда менее ясным. Студент Кузнецов все разворочал, все спутал в наших представлениях об интеллигенции, посеял тревогу. Мысль о неизбежности предательства либерально-буржуазной интеллигенции так глубоко вгрызлась в мозг, что соображение об исключениях как-то не укладывалось в голове. Только одна гарантия казалась теперь надежной — классовая ненависть. А сестры Невзоровы? Какая у них может быть ненависть к своему собственному классу? Тут даже у «стариков» руки опустились, а эти девушки заводят связи с рабо-

чими, смеются, как будто чай с конфетами пьют... И на что они надеются? Разве не знают, что их ждет тюрьма, ссылка, смерть? Как тех, почти легендарных, Софью Перовскую и Веру Фигнер?..

А может, их подослал тот толстый — Кузубов?..

Но нескольких встреч оказалось достаточным, чтобы все мои подозрения рассеялись, как туман при лучах яркого солнца. Все мое существо ликовало, смеялось, пело. Настоящие! Настоящие! Вот какие бывают люди! Вот какие бывают женщины! Я восхищался, и чувство враждебного недоверия сменилось восторженной благодарностью. Значит, они за пролетариат!

Я поверил этим необычным женщинам. И когда сестры Невзоровы предложили мне собрать уцелевших после провала, то я сделал это без всяких колебаний. Окончилось скучное существование. И нас совсем не смущала наша малочисленность. Прежде всего я порадовал появлением новой интеллигенции котельщика курбатовского завода Григория Яковлевича Козина. Он тоже уцелел. Болезнь в раннем детстве изуродовала его лицо, вдавила переносицу и опустила веки; безобразили лицо и толстые синие губы. И только вьющиеся кольцами золотые волосы были красивы. Он был одним из лучших агитаторов и действовал на рабочих, как дрожжи на тесто. Куда попадал Козин, там начиналось брожение, а то и стачка возникала. Его собственные глаза плохо раскрывались, но он мастерски раскрывал глаза другим, пользуясь легальными книжками, а особенно сказкой Толстого об Иване-дурачке. В его изложении сказка становилась неумолимо разящим оружием, направленным против самодержавия, помещиков и капиталистов. Совершенно забывалась его непривлекательная внешность, когда с ядовитым презрением к человеку «чистому» он, захлебываясь от смеха, говорил: «а мы... работаем больше горбом!»

Козин привел котельщика Василия Ивановича Замошникова, двоюродного брата арестованных Александра и Михаила Замошниковых. Василий Иванович Замошников, весь заросший большой черной бородой, был значительно старше нас, не отличался большой

грамотностью, но, единственный из «стариков», он без всяких колебаний присоединился к нашему кружку.

Первое собрание назначено было в воскресенье на Моховых Горах, куда мы приехали на лодках с разных сторон. Сестры Невзоровы приехали с Василием Александровичем Ванеевым. Как истинные нижегородцы, мы пили чай из большого закопченного чайника, привезенного Козиным. Кругом шумели сосны и ели, потрескивал костер, а за широкой Волгой чуть виден был приземистый курбатовский завод. Он казался какой-то грязной норой, и не верилось, что именно там проходит большая часть нашей жизни, что там, прячась от солнца и свежего воздуха, мы проводим по шестнадцати часов в сутки.

Завязалась беседа, мы рассказали про завод, про настроения рабочих: рабочие перестали пугаться, появляется спрос на литературу, только литературы нет... Сестры Невзоровы поставили вопрос о развертывании революционной работы в Сормове. Василий Иванович Замошников сообщил, что токарь Михаил Михайлович Громов также уцелел от ареста и работает на маленьком заводике недалеко от села Бор. По предложению Невзоровых было решено перебросить в Сормово Громова. Зинаида Павловна поручила мне разыскать Громова и привести его на следующее собрание.

В следующее воскресенье я с раннего утра отправился на Бор, разыскал квартиру Громова, но самого его не застал, — он работал на заводе. Побеседовав с его женой, я попросил ее передать мужу, что я приду в понедельник вечером. Мое появление на другой день привлекло внимание соседок, которые при мне с двух сторон начали кричать:

— Кто это, Дуня, к вам все ходит?

— Это мой модный, — игриво ответила находчивая жена Громова.

На этот раз я Громова дождался, мы побеседовали за чаем о разных пустяках, а потом он пошел меня провожать. Внимание соседок было, вероятно, неспроста. Дорогой я рассказал ему о цели своего прихода, он согласился вступить в кружок и перейти на работу в Сормово.

Другого ответа я и не ожидал. Сын чернорабочего, токарь Громов вступил в марксистскую организацию на заводе Курбатова еще в 1891 году. Это он в семнадцать лет во время ледохода героически переправился через Оку на ботнике. Ботник был раздавлен льдом; сам Громов очутился в ледяной воде; перепрыгивая с льдины на льдину, он еле-еле выбрался на берег на Стрелке и, измученный борьбой со стихией, бежал, напрягая все силы, к дому инженера Канавинского химического завода Круковского *, желая спасти его от жандармов, которые с прокурором и жандармским полковником требовали спасательную лодку, чтобы переехать через Оку. Громов опоздал. Он прибежал тогда, когда инженера уже уводили жандармы, и самому Громову пришлось спасаться от преследования, от пуль стрелявших жандармов. Он избежал ареста, только спрятавшись в одном из пустующих ярмарочных помещений. Это Громов хватал сыщиков на Большой Покровке ночью за горло, бил их на глазах полиции и скрывался! Это он среди бела дня спускал сыщиков с Откоса! От такого члена подпольной рабочей организации я не мог ожидать отказа.

Следующее собрание уже состоялось с участием Громова; он подтвердил свое согласие на переход в Сормовский завод. Сестры Невзоровы объяснили нам, как надо строить организацию, чтобы она не сделалась легкой добычей жандармов, как это было в 1896 году. Ими была предложена такая конспиративная схема: организуется основное ядро — десяток самых стойких и проверенных товарищей. Каждый из этих товарищей, в свою очередь, создает свой самостоятельный десяток, воспитывает его членов в мар-

* Григорий Моисеевич Круковский был в 1893 году выслан из Москвы в Нижний Новгород за революционную деятельность. В Нижнем Новгороде быстро установил связи с местными марксистами — А. С. Розановым, Н. А. Рукавишниковой и другими — и повел занятия с кружком сормовских рабочих. В Нижний Новгород Круковский привез с собой типографию, которую хранил у себя на заводе. Это была первая в России социал-демократическая типография. После ареста нижегородскими жандармами Г. М. Круковский заболел туберкулезом и умер в ссылке в 1895 году.

кистском духе, закаляет их, делает способными создать новые десятки. О центральном десятке должны были знать только члены этого десятка. Тот же принцип необходимо было соблюдать и в следующих десятках.

Центральный кружок должен был знать о всех кружках и членах кружков периферии, но члены этих последних должны были знать только членов своего кружка, в который они входили, и членов того кружка, который они сами организовали. При такой системе жандармы не могли уничтожить всю организацию; в худшем случае провал ограничивался тем десятком, в который попал провокатор.

Эта система и была применена мною, когда я перешел на Сормовский завод с завода Доброва и Набгольц. Так же организовал в Сормове кружок Григорий Иванович Гариннов.

Зинаида Павловна обучила меня шифру и, когда требовалось, посылала мне по почте газету «Нижегородский листок», на котором шифром был нанесен требуемый текст. Связующим звеном был Ванеев, в квартире которого я несколько раз встречался с Софьей Павловной Невзоровой. Зинаида Павловна буквально «натаскивала» меня в конспирации. Наши часы были выверены до минуты. Я встречался с ней в условленных местах на улице, не останавливаясь, не здороваясь, не оглядываясь, и мы лишь обменивались несколькими словами о времени и месте собрания или встречи. Она приучила меня к педантической точности, от которой я и теперь никак не могу отучиться. Иногда я быстро, почти не останавливаясь, бросал в ящик парадного газету с шифром, звонил и уходил. К дому Невзоровых был приставлен постоянный сыщик, ночной сторож, который стоял на другой стороне улицы. Как ни быстро совал я газету и дергал звонок, но один раз он или заметил это, или уловил звук колокольчика, и начал кричать, чтобы я дожидался, пока откроют двери. Я, конечно, ни на мгновенье не задержался и, быстро завернув за угол, стал уходить в поле, а он все спешил за мной и орал: «Господин! Господин! Вы звонили! Куда же вы? Вы дождитесь, когда вам от-

кроют!» Он воображал, что я обернусь и покажу ему свое лицо. Я шел быстро, крик стал стихать, а потом и совсем умолк. Очевидно, он подумал, что я умышленно хочу увести его от дома, и побоялся итти за мной в поле.

Встречался я по вечерам с Зинаидой Павловной еще в Телячьем переулке, в квартире двух марксисток-портних. Дело кончилось арестом этих портних, и однажды, когда я пришел в условленное время, меня пытались задержать трое сыщиков, от которых я ушел гимнастическим шагом, не показав своего лица. Они могли после сказать только, что приходил высокий, черный; этого высокого, черного разыскивали жандармы, тщетно пытались узнать его имя от арестованных портних, которые оказались куда более стойкими, чем высокообразованные студенты Марышев и Кузнецов.

Летом на Моховых Горах была проведена массовка, на которой интеллигенции собралось больше, чем нас, рабочих. Присутствовали Василий Алексеевич Десницкий, Мария Петровна Иваницкая, Ванеев и другие.

Осенью стали собираться на Набережной улице, в квартире Анны Михайловны Весовщиковой, моей двоюродной сестры. Громов бывал редко, но прибавился еще один рабочий, столяр Григорий Иванович Гаринов, муж моей старшей сестры, работавший на заводе Доброва и Набгольц. Это тот самый Гаринов, которого в свое время «мобилизовала» моя мать, чтобы он меня отговорил от революционной работы. Он был на пятнадцать лет старше меня, и все же уговорил не он меня, а я его. Для нас Гаринов был большим приобретением. Этого упрямого человека убедить было очень трудно, но, раз убедившись, он стал настойчиво убеждать других в необходимости борьбы против царизма и капитализма. В столярном цехе, где большинство было из деревни, он создал целую группу. Впоследствии я убедил Гаринова перейти в Сормово, где он вместе с Громовым много сделал для укрепления сормовской организации еще до моего перехода туда. Он тоже прошел школу сестер Невзоровых, которые, по существу, после провала 1896 года и создали

первоначальный, основной костяк сормовской организации.

В соединении с настоящими революционными марксистами, какими были сестры Невзоровы, мы почувствовали себя большой силой. Я тогда еще не знал, что они были членами первого ленинского петербургского кружка, не знал о деятельности Ленина, но, сопоставляя их с другими интеллигентами, пришел к заключению, что они и есть те самые лучшие из интеллигенции, о которых говорил Маркс.

Таких интеллигентов мы крепко любили, восторгались ими, считали героями. Роль революционной марксистской интеллигенции в деле победы рабочего класса была громадна. Вот я уже подхожу к концу жизни, но и теперь письма от тех марксистов-интеллигентов, которые до конца остались верны делу пролетарской революции, делу Ленина, делу партии, являются для меня праздником. Общение с сестрами Невзоровыми и другими подобными им революционными марксистами делало нас более сильными, развивало нас, укрепляло, закаляло. Сестры Невзоровы оказали большое влияние не только на рабочих, но и на интеллигенцию, на сестер Иваницких, на Василия Алексеевича Десницкого (Строева) *, который работал с нами после их отъезда. «Мне сказали: дерзай, чадо! И я дерзнул», — рассказывал мне Василий Алексеевич.

На меня лично сестры Невзоровы оказали громадное влияние. Именно от них получил я окончательную большевистско-ленинскую закалку. С собраний, происходивших в квартире Анны Михайловны Весовщиковой, на которых присутствовали сестры Невзоровы, я уходил с большим подъемом, доходящим до экстаза. Особенно сильное впечатление произвели на меня рассказы о массовой борьбе английских, бельгийских и германских рабочих, борьбе, переходившей во

* Василий Алексеевич Десницкий (партийные псевдонимы Строев, Лопата) начал принимать активное участие в социалдемократической работе с 1897 года в Нижнем Новгороде. В период 1903 — 1909 годов был крупным работником партии. Впоследствии от партийной работы отошел. В настоящее время профессор-литературовед.

всеобщие стачки. Мне всегда казалось, что от всеобщей стачки до вооруженного восстания только один шаг, и я был убежден в неизбежности и близости этого восстания.

Собрания наши оканчивались обычно поздно ночью. Возвращаясь домой в одиночестве, я от восторга уже не мог сдерживать своих чувств, и если бы кто-нибудь мог наблюдать, то, наверно, принял бы меня за безумного. Я чувствовал в себе что-то огромное, распиравшее грудь. Я почти физически видел необозримые колонны мирового пролетариата, идущего в свой последний бой, слышал их железный топот и испытывал необычайное, ни с чем несравнимое наслаждение. Я радовался, что не родился в богатой семье, что испытал всю тяжесть нищеты и эксплуатации, что с чистым сердцем могу бороться за величайшее дело и счастье всего трудового человечества и повести рабочих на революционное восстание.

Софья Павловна Невзорова однажды предложила мне оставить работу на заводе, подготовиться и поступить в среднее техническое училище при Нижегородском реальном училище. Она говорила, что со мной будут заниматься, мне будет дана материальная возможность закончить это училище. Я был бы на верху счастья, если бы это предложение пришло ко мне до знакомства с идеями Маркса, но теперь меня влекло уже другое, и я отказался. Софья Павловна никак не могла понять моего отказа: я объяснил, что не хочу отрываться от рабочего класса, что мастеров, инженеров и техников рабочие ненавидят, так как они являются орудием в руках эксплуататоров.

Как-то Зинаида Павловна Невзорова спросила меня: какую цель в жизни я ставлю перед собой? Я ответил, что хочу выковать двух таких же революционеров, как я сам. Она улыбнулась. Больше этого вопроса она уже не повторяла. Но когда мы с ней прощались перед ее отъездом к своему жениху Глебу Максимилиановичу Кржижановскому в Минусинск Енисейской губернии, то я хотел еще большего. Я мечтал о переходе в Сормово, о создании там крепкой революционно-марксистской рабочей организации, которую не смогли

бы выловить и сломить никакие жандармы, которая могла бы повести рабочих на вооруженное восстание.

В начале 1898 года я был уволен с завода Курбатова. Тщетно пытался я поступить на какой-нибудь завод, меня нигде не принимали. Тогда я решил поступить на ремонт одного из пароходов в Муромский затон.

Мне повезло, и я был принят слесарем на буксирный пароход купца Вагина. Пароход был старый, расхлябанная машина требовала капитального ремонта: расточки цилиндров, проточки поршней, шеек валов и других сработавшихся деталей. Заводы за ремонт брали дорого, а поэтому опытный и расчетливый хозяин предпочел набрать больше рабочих, руки которых должны были заменить все заводские станки.

Пароходное начальство состояло из хозяйского приказчика и машиниста парохода. Машинист поручил мне работу над коленчатыми валами, которые я должен был заново отшлифовать, а главное — выточить их сработанные шейки по калибру с точностью токарного станка. Сработанность доходила до шести миллиметров, и шейки представляли собой уже не правильные цилиндры, а сплюснутые; этот дефект я должен был устранить с помощью слесарного напильника.

Когда я закончил свою работу над валами, машинист произвел самую тщательную проверку диаметра шеек с помощью раздвижного калибра и вместо пятидесяти копеек, которые я получал на заводе, назначил мне самую высокую плату — рубль двадцать копеек в день.

Я переходил с одной работы на другую, работал то на тисках на палубе парохода, под брезентовым навесом, то в машинном отделении. Работа начиналась с пяти часов утра и с перерывами на завтрак и обед длилась до семи часов вечера. Все мы работали с напряжением всех сил.

В машинном отделении парохода стояла вода, покрытая коркой льда. Лед ломался под нашей тяжестью, и ноги у нас все время были мокрые. Утром сапоги замерзали, и ноги коченели. В жарко натопленной зимовке во время завтрака я топал ногами об пол целые

полчаса, чтобы их согреть. После завтрака становилось теплее, и ноги уже не так мерзли.

В зимовке во время завтрака и обеда набиралось сорок пять человек рабочих. У входа, по обе стороны двери, были устроены две крохотные каморки для машиниста и приказчика. Часть рабочих работала в кузнице и в медной мастерской, часть на тисках в зимовке, и большая часть слесарей на пароходе.

Две новые пружины для цилиндров были отлиты и выточены на заводе, но диаметр их оказался больше, чем следовало, и их после обточки на токарном станке пришлось опиливать слесарной пилой по скобке. На каждый цилиндр было поставлено по два человека. Со мной в паре работал такой же молодой и длинный парень, как и я.

Прежде всего пришлось с помощью крейцмесселя и зубила срубить тринадцатимиллиметровую заработку, вслед за которой диаметр цилиндра расширялся на двадцать шесть миллиметров. Всего у́же диаметр цилиндра был в середине, расширяясь раструбами к концам. Пробовали мы пилить внутренние стенки цилиндра старыми напильниками — «карасиками», но они быстро «сели», как от наждачного точила. Пришлось ограничиться резками. Резок у нас была целая куча, но ртути для их закалки не было; при закалке мы цементировали их калийной солью, и все же они быстро тупились, и нам то и дело надо было бегать в кузницу для точки. Машинист и приказчик начали посматривать на нас косо, старые слесари нас ругали, что мы не работаем, а только бегаем.

Мы дюйм за дюймом забивали кувалдой пружину в цилиндр, слегка смазывая его разведенной в масле голландской сажей, и, налегая что было сил, с остервенением скоблили крепчайшую поверхность чугуна, но она поддавалась очень туго.

На втором цилиндре работали два пожилых слесаря. Они были значительно меньше нас ростом, им удобнее было работать в тесном цилиндре.

Оба мы сидели в цилиндре друг против друга. Нам очень мешали длинные ноги, и мы не знали, куда их девать, а надо было дать полную свободу рукам и най-

ти место поставить свечку, без которой невозможно было бы работать.

По моему предложению мой товарищ клал свои ноги мне на плечи, мои ноги попадали на его бедра. Мы принимали самые разнообразные и причудливые позы и были скорее похожи на двух клоунов в бочке с одним дном, чем на слесарей. Но мы спешили и упорно дюйм за дюймом двигали к концу цилиндра поршневую пружину, расчищая ей путь резками.

Мы пришабрили резками по поршневой пружине весь цилиндр на три дня раньше старых слесарей и перешли на другую работу. Но мы не радовались своей победе, а жалели, что они от нас отстали.

С наделки подшипников, где я работал, меня перевели на ремонт поршня и поставили в пару с другим слесарем. Поршни цилиндров и поршневые крышки так же сработались, как и другие детали машины. Между яблоками пришлось вырубать металл на тринадцать миллиметров глубиной. Предохранительных очков не было, а стружка соседа летела в лицо.

На третий день рубки, в субботу утром, стружка поранила мне радужную оболочку правого глаза и осталась в нем. Глаз начал слезиться, но мне не хотелось терять рубль двадцать копеек, и я продолжал работать, намереваясь итти в больницу в воскресенье утром. Проработал до обеда, а потом и до вечера. Глаз мой заплыл, и я решил ехать в город, так как к этому времени лодочники начали уже перевозить пассажиров между плывущими льдинами. В амбулаторию больницы я мог итти только в воскресенье утром, вечером приема больных там не производилось.

Я понимал, что ждать дольше нельзя, и решил итти к глазному доктору Золотницкому, который славился своей либеральностью и квартиру которого я знал. Он жил на Большой Покровке. Добрался я до него, когда уже стемнело.

На мой звонок открыла дверь домашняя работница. Войдя в переднюю, я попросил доложить доктору, что к нему пришел за помощью рабочий, которому попала в глаз металлическая стружка. Девушка прошла во внутренние комнаты, закрыв за собой двустворчатую

дверь. Я слышал, как она тихо что-то говорила, но не мог разобрать слов. В ответ послышался недовольный женский голос:

— Я же тебе сказала, чтобы ты никого не впускала. Ведь ты же знаешь, что барину надо ехать в гости. Поди скажи, что барина нет дома и он придет не раньше двенадцати часов ночи.

Девушка вышла ко мне и передала слова барыни, которые я уже слышал. Я сел на стоявший около стола табурет и спокойно ответил ей:

— Хорошо. Я буду ждать его здесь.

Девушка ушла. Я слышал отдельные голоса, слышал мужской голос, но слов разобрать не мог. Я сидел и терпеливо ждал.

Прошло более пяти минут, и девушка вновь ко мне вышла.

— Барин уехал в гости, а из гостей поедет в клуб и вернется поздно, — сказала она.

Я все так же спокойно ответил:

— Хорошо. Я буду ждать его здесь до утра, и если понадобится, буду ждать до следующего вечера, но уйти не могу. В моем глазу сидит чугунная стружка. Глаз весь заплыл, и я могу потерять зрение.

Девушка ушла и больше не показывалась. Я ждал не менее десяти минут. Разом открылись обе двери. Я увидел высокого красивого мужчину с бородой и услышал одно слово:

— Пожалуйте.

Я прошел за врачом через большую комнату с паркетным полом и вслед за ним вошел в большой, богато обставленный кабинет. Там я увидел нарядную даму и понял, что это супруга врача.

На столе стояла большая лампа «молния». Врач попросил принести вторую лампу. Дама ушла и принесла вторую лампу, такую же, как и первая. Меня попросили сесть. Врач стал приготовлять инструменты. Обращаясь ко мне, он сказал:

— Вам надо бы прийти завтра утром. При искусственном освещении трудно что-нибудь рассмотреть.

— Но в моем глазу сидит чугунная стружка! — сказал я. — Он и сейчас уже весь заплыл! Если бы

я пришел к вам завтра, то вы сказали бы мне, что теперь уже слишком поздно, что я должен был прийти вчера, что мне нужно ложиться в больницу. А я должен каждый день работать, чтобы жить и кормить свою семью.

Осмотрев глаз, врач согласился, что медлить с операцией нельзя. Он пустил мне в глаз каких-то капель. Дама подошла сзади, взяла меня обеими руками за голову и крепко прижала ее затылком к своей груди. Врачу над моим глазом пришлось поработать немало. Он ковырял в нем какой-то прямой тонкой иглой, несколько раз переставлял лампы, смотрел в глаз через лупу и снова ковырял, говоря даме, что еще не все.

Я знал, что чугунная стружка самая каверзная, что она отламывается маленькими кусочками, и терпеливо сидел как каменный.

Врач извлек стружку и рекомендовал мне не снимать несколько дней повязки с глаза. Я заплатил три рубля, поблагодарил врача и пошел домой. В воскресенье я обегал много магазинов, намереваясь купить защитные очки, но нигде не нашел их. Купил в аптеке свинцовой примочки и целый день примачивал свой глаз, стараясь быстрее ликвидировать воспаление.

В понедельник я вновь переправился через Волгу на лодке и, сняв повязку с глаза, стал на работу. Я проработал благополучно два дня, а на третий день мне вновь попала стружка в радужную оболочку правого глаза. Я на этот раз не стал долго дожидаться и, заявив о случившемся хозяйскому приказчику, отправился на Жуковскую улицу в Мартыновскую больницу, где мне извлекли стружку.

После этого я решил не возвращаться на работу без предохранительных очков, обегал весь город, но смог разыскать их только на Нижнем Базаре у английской фирмы «Баллод». Когда я снова стал на работу, я наслаждался чувством безопасности. Моя борода была залеплена стружкой соседа, который не умел беречь товарища. Стружка изредка больно била в лицо, рассекая кожу, но я знал, что глаза мои надежно защищены. Такова была «техника безопасности» в старорежимной России.

Ночевали мы в зимовке, и мне каждую ночь приходилось сгибаться под прямым углом, около конца верстака на полу. Я подстилал под себя захваченный из дому мешок, а сверх полена клал под голову свой ватный пиджак. Согнутое положение в течение ночи меня сильно утомляло.

Но вот зимовку разобрали и увезли, и мы остались на пароходе. Теперь мы должны были ночевать на холоде и пить холодную воду, так как негде было согреть чаю. Когда мы жаловались на это, приказчик заявлял, что речная полиция запрещает разводить на судах огонь.

Однажды, когда наступил перерыв для завтрака, я предложил итти пить чай к перевозу в трактир. Дорогой я говорил рабочим об эксплуатации рабочего класса капиталистами и о той борьбе, которую ведут против капиталистов рабочие всех стран. Рассказывал о стачечной борьбе, которая происходит и у нас, в России. Напомнил, что купец Вагин, у которого мы работаем, самый злостный эксплуататор, что он за буксирование барж будет брать большие деньги, а нам платит гроши. Он загнал нас в темное помещение, как скот, не дает нам даже соломы для подстилки и заставляет спать вповалку на грязном, дырявом, холодном полу.

Я говорил, что мы работаем с пяти часов утра и до семи часов вечера, тогда как на заводах работают с семи часов утра и до семи вечера, а платят нам меньше, чем платят на заводах за постоянную работу. Я предложил объявить забастовку и выставить требования об уменьшении рабочего дня, прибавке жалования на двадцать процентов, о предоставлении теплого помещения для сна и кипятка для чая.

Несколько человек было подготовлено мною раньше, а поэтому предложение объявить забастовку было принято. В трактире мы просидели несколько часов, беседовали, пили чай, закусывали Я говорил товарищам, что забастовка наша будет выиграна, так как рабочих рук теперь нет, хозяин платит нам меньше сорока рублей в день, а от простоя парохода он каждый день будет терять сотни рублей.

Придя на пароход, мы заявили приказчику свои требования.

Приказчик принял наши требования, как вполне обычные, и сказал, что при первой же возможности пароход будет уведен на Софроновскую пристань, и обещал передать наши требования хозяину.

Из-за плохой одежды я не решился оставаться на пароходе и заявил приказчику, что хотя бы нам поденную плату и увеличили, я все же работать не буду, пока пароход не будет переведен в город, так как рисковать своим здоровьем из-за каких-нибудь десяти-пятнадцати дней работы не стану.

Я переправился через Волгу на лодке и пошел домой. Дня через три-четыре мне сказали, что пароход стоит повыше Красных казарм, и я пошел на работу. Войдя на пароход, я узнал, что стачка выиграна и хозяин прибавил всем по двадцать копеек в день, но что машинист на меня сильно зол за то, что я остановил на несколько дней работу.

Вскоре вышел на палубу машинист, потом вышел приказчик и сам хозяин, купец Вагин. Я заявил, что узнал о переводе парохода к городу и явился на работу. Товарищи оказались правы: машинист стал доказывать хозяину, что главным виновником стачки являюсь я, и настаивал на моем увольнении с работы как опасного агитатора.

Я был удивлен. Еще больше я был удивлен, когда приказчик, которого я считал хозяйской «собакой», начал меня горячо защищать как добросовестного, трезвого и очень хорошего работника.

Победа осталась на стороне машиниста: хозяин возвратил мне паспорт и выдал заработанные мной деньги.

После этого, обращаясь ко мне, он спросил:

— Как твоя фамилия?

Вопрос был ненужным, так как он только что держал в руках и рассматривал мой паспорт, а поэтому я не ответил. Тогда он обратился с тем же вопросом к приказчику и машинисту, и последний поспешно ответил:

— Его фамилия Заломов.

Хозяин вынул записную книжку и записал мою фамилию.

После этого я сам задал ему вопрос:

— Как твоя фамилия?

Он тоже не ответил. Обращаясь к рабочим, я спросил:

— Как фамилия хозяина?

Кто-то ответил: «Вагин». Я вынул карандаш, клочок бумаги и записал.

Маневр хозяина с записью моей фамилии я принял за простую демонстрацию, чтобы запугать рабочих, хотя не была исключена возможность, что разозленный купец пожалуется на меня жандармам и полиции. Проверить этого я не мог, так как и до поступления на пароход и после увольнения с парохода я, когда пытался найти работу на заводах, получал один и тот же ответ: «рабочие не требуются».

СОРМОВО

Осенью 1900 года я был уволен с нижегородского завода мельничных машин Доброва и Набгольц, — куда вскоре после ухода с парохода мне удалось поступить, — за неподчинение механику. Если бы даже меня не уволили, то пришлось бы все равно уходить самому: за мной следили. Ко мне был приставлен сыщик, умный и очень хитрый: он всегда находил предлог быть там, где был я. Это так мешало работать, что расчет я принял с удовольствием.

Я опасался только, что жандармское отделение не даст мне поступить на Сормовский завод, куда я давно хотел перейти, но все обошлось благополучно. Я был принят слесарем в механический цех, в бригаду паровозных дышл. Жандармское отделение не воспрепятствовало моему поступлению на завод, но дней через десять в бригаде появился новый «слесарь» — жандарм с рыжей бородой. Со мной в паре работал слесарь Покровский, ставший вскоре членом одного из наших подпольных кружков. Жандарм работал рядом с ним. Работать он, очевидно, подучился ранее. Но все знали, что это бывший жандарм и к тому же не очень умный. Он

воображал, что его прошлое неизвестно, и не только не сбрил, а даже и не подстриг свою кричащую бороду. В мое отсутствие он под разными предлогами обшаривал карманы моего пальто, рылся в моем инструментальном шкафчике, — обо всем этом мне сейчас же передавали. Когда во время работы ко мне кто-нибудь подходил и я, не переставая работать, разговаривал, жандарм становился в самую неудобную для работы позу и, не смущаясь, тянулся к нам своим ухом. Над его глупостью мы хохотали до слез.

Работа была на заводе сдельной, расценки систематически снижались. Работали и по ночам и в праздники, напрягали силы до пределов человеческой возможности. Зимой, в сильные морозы, придя в цех до гудка, выкладывали свои инструменты и, сидя на верстаках, разговаривали. В цехе было холодно, все зябли в своих пальтишках или коротких полушубках, но после гудка быстро согревались от работы.

Я обычно начинал работать в пиджаке, потом оставался в жилете, а дальше, когда воздух нагревался от воздушного отопления, снимал и жилет и блузу, засучивал рукава и, работая, потел в нижней рубашке. Ни механик, ни мастер, — никто не обращал на нас никакого внимания, да им и не было никакой надобности нас подгонять. Достаточно было одному из пары лишний раз отлучиться в уборную, и он уже не мог догнать своего товарища; последний кончал свою половину раньше и стоял, ничего не делая, так как дышло нельзя было перевертывать, пока не закончена в работе вся сторона. Сдельщина была не индивидуальная, а бригадная, а поэтому случаи отставания были редки, так как вся бригада, заинтересованная в высокой выработке, набрасывалась на отстающего.

Минут за пять до окончания работ, вечером, мы начинали прибирать инструменты, мыли руки и минуты две-три стояли или сидели на верстаках, отдыхая в ожидании гудка, обычно подшучивая друг над другом. Этими моментами я иногда пользовался для передачи нелегальной литературы или прокламаций Покровскому.

Я сижу на верстаке рядом с жандармом, напротив

стоит Покровский, во внутреннем кармане его расстегнутого пиджака видна газета «Нижегородский листок». На чьи-то слова Покровский поворачивает голову, а я быстро выхватываю у него газету и прячу за спину. Все смеются, жандарм хохочет. Подозрения Покровского падают на жандарма, и он требует с него газету. Смех усиливается. Выждав время, я возвращаю Покровскому газету, вложив туда несколько нелегальных брошюр. Он понимает и, в свою очередь, начинает смеяться.

Прокламации я свертывал тугой трубкой, связывал и подвешивал на особый крючок подмышкой, в рукаве пальто. Одевался и раздевался на глазах жандарма. Когда я выходил, жандарм старательно осматривал карманы моего пальто, ощупывал полы, но заглянуть хоть раз в рукава у него не хватало ума.

Однажды надо было распространить листовки. Часть их, которую должен был разбросать Покровский, я принес в обед, и они до вечера провисели в рукаве пальто. После уборки инструментов, перед самым гудком, я сел на верстак, по обыкновению забросив руки за спину. Справа от меня пытался сесть Покровский, но жандарм, со смехом вклинившись между нами, разъединил нас, и Покровский отодвинулся дальше. Начались веселые разговоры, шутки. Я вытянул из рукава сверток с прокламациями и за спиной жандарма передал его Покровскому.

Утром я пришел раньше, часть прокламаций разбросал по цеху, часть разложил по всем уборным над дверями, где рабочие разобрали их и принесли в цех. Несколько прокламаций попали в руки бригадира, и он отнес их в контору. Администрация решила, что «злонамеренные люди» перелезли через стену около уборных, которые были в полной тьме. После этого случая уборные были освещены электричеством. На меня и на Покровского не пало никаких подозрений, — мы были под «охраной» жандарма.

Так я и проработал бок о бок с жандармом до самого своего ареста во время первомайской демонстрации 1902 года, и, пожалуй, мой арест был для него неожиданностью.

На первых же порах работы в Сормове мне пришлось повести борьбу за реорганизацию партийной кассы, кассиром которой я стал. В сущности, это была касса взаимопомощи, — я же настаивал на превращении ее в чисто партийную кассу, средства которой тратились бы на приобретение «Искры» и другой нелегальной литературы, а также на помощь арестованным. Большинство товарищей быстро со мной согласилось. Взносы в партийную боевую кассу были установлены в размере однодневного заработка. Вносились они в каждую получку, то-есть два раза в месяц. Собранные деньги для большей сохранности я сдавал Якову Кирилловичу Гаврюшову — он клал их в сберегательную кассу на свое имя.

Мне поручили также связь с нижегородской марксистской интеллигентской группой и доставку от членов этой группы нелегальной литературы и прокламаций в Сормово. Старые члены партии — М. М. Громов, М. И. Самылин, Г. И. Гаринов — сумели вовлечь в организацию новых рабочих. В центральный кружок постепенно вошли: Громов, Гаринов, Самылин, Дмитрий Павлов, Баранов Семен, Погнирыбко, Углев, Рыбников и я. Все вместе мы из конспиративных соображений собирались редко, но частенько сходились по пять-шесть человек, много беседовали о задачах российского пролетариата, о том, что должны делать.

Мы руководствовались планом законспирированного построения организации, полученным мной от сестер Невзоровых в 1897 — 1898 годах. Возникли споры, кого следует вовлекать в кружки. Некоторым казалось, что если рабочий резко выражает недовольство начальством, сочувственно отзывается о революционной борьбе, то этого уже достаточно, чтобы ввести его в кружок. Я рассказывал о провокаторах, которые своей показной сверхреволюционностью стремятся завоевать доверие, указывал, что имеется тип людей, которые быстро загораются, но потом так же быстро потухают, что предателем может сделаться не только провокатор, а и честный, но увлекающийся и преувеличивающий свои силы рабочий, который, попавшись в руки полиции и жандармов, не выдерживает запугиваний, побоев

и пыток и по слабости выдает товарищей. Далеко не все рабочие могут быть революционными марксистами, и нам надо гнаться не за количеством, а за качеством, говорил я.

Я считал самым важным помочь рабочему сделаться сознательным. У некоторых товарищей проскальзывало нетерпеливое стремление как можно скорее «пострадать» за дело пролетариата. Я доказывал, что дело заключается совсем не в том, чтобы скорее попасть в тюрьму и ссылку, а в том, чтобы как можно дольше продержаться, как можно больше воспитать сознательных рабочих-марксистов.

Нашей первой задачей было укрепить свою организацию и количественно и качественно, и в этом нам особенно помогала революционно-марксистская интеллигенция, с которой мы держали крепкую связь, под руководством которой работали. В качестве пропагандистов в самом Сормове работали студент Василий Алексеевич Десницкий и бывший фельдшер Иван Павлович Ладыжников. Как весьма образованный марксист, агитатор и пропагандист, большим влиянием пользовался товарищ Десницкий. Но в смысле организации самой борьбы на первое место выделился имевший большой революционный стаж товарищ Ладыжников * — очень хороший конспиратор и практический руководитель. Ни один важный вопрос в жизни сормовской партийной организации не решался без его личного участия и совета. В Нижнем на Ковалихе он имел конспиративную квартиру, я ездил к нему по вечерам почти каждую субботу, получал литературу, рассказывал о работе организации, получал практические советы.

* Революциоиная деятельиость И. П. Ладыжникова в Нижием Новгороде была прерваиа его арестом в 1903 году. В 1904—1905 годах И. П. активио работал в Петербурге, в 1905 году по поручеиию партии выехал за границу для руководства изданием произведеиий русских писателей партийиыми издательствами.

И. П. Ладыжников был близким другом А. М. Горького, миого лет помогал ему в целом ряде издательских иачиианий. В последиие годы жизни Алексея Максимовича И. П. заведовал его архивом, а затем работал по собираиию литературного иаследства великого писателя.

Когда сормовская организация окрепла, Иван Павлович посоветовал вырвать Сормовское потребительское общество из рук заводской администрации, которая использовала общество, чтобы грабить рабочих. Я высказал свои сомнения: председателем правления заводской кооперации являлся директор завода Мещерский, помощником председателя — управляющий коммерческой частью Мацкевич; администрация завода вложила в кооперацию крупные денежные суммы, получает большие проценты и из своих рук общество легко не выпустит. Выделенные нами рабочие могут быть выкинуты с завода и арестованы, а если они и уцелеют, работать им будет страшно трудно, так как никакого опыта кооперативной торговли у них, естественно, нет. Но Ладыжников предусмотрел средство преодоления всех этих затруднений. Он предложил запретить выдвинутым в кооперацию товарищам вести нелегальную работу, ввести в правление и в ревизионную комиссию несколько наиболее надежных и близких к организации беспартийных рабочих, а для текущей торговой работы порекомендовал опытного кооператора тов. Захарова.

— Даже если борьба кончится неудачей,—объяснил мне И. П. Ладыжников, — ее надо начать и довести до конца, так как и самая неудача может быть использована для политического воспитания рабочих.

Предложение Ивана Павловича я передал на обсуждение центрального кружка, который согласился с ним и выделил для кооперативной работы Г. И. Гаринова, М. М. Громова и М. Рыбникова, запретив им вести нелегальную работу.

Пайщиков кооперации было немногим более 2 500 человек, но в борьбе была заинтересована вся тринадцатитысячная масса рабочих. Все рабочие были покупателями кооперации и одинаково с пайщиками страдали от произвола и злоупотреблений заводской администрации, которая продавала скверные товары по высокой цене, а прибыль распределяла только на паевой рубль, ничего не давая на рубль заборный. Мы разъясняли, что при переходе кооперации в руки рабочих цены на товары будут значительно снижены, а ка-

чество товаров повышено и что из дивидендов больший процент будет выдаваться на заборный рубль и меньший на паевой рубль. Рабочая масса пошла за нами. Перевыборы дали перевес рабочему списку. Администрация отменила выборы, но рабочие вторично, с еще большим единодушием отдали голоса нашему списку. Кооперация перешла в руки рабочего правления. Старое правление, чтобы скрыть следы своих преступлений, устроило пожар и сожгло все документы.

Рабочее правление продержалось довольно долго и успело показать все преимущества деятельности доверенных людей самих рабочих. В добавление к старой деревянной лавке было построено двухэтажное каменное здание. Правление построило свою мельницу, свою пекарню, колбасную и коптильную, открыло мясную торговлю и т. д. Скот стали закупать в Сибири и пасти его на арендованных лугах, ткани закупали непосредственно на фабриках и т. д. При распределении дивиденда на паевой рубль выдавали по 5 процентов, а на заборный по 12 процентов. Цены благодаря оптовым закупкам были сильно снижены, качество товаров повышено. Кровососы-лавочники принуждены были закрыть свою торговлю, а высокое качество товаров и сниженные цены привлекли покупателей из Канавина и даже из Нижнего Новгорода.

Успех борьбы за руководство в кооперации усилил симпатии к партийной организации, руководившей этой борьбой.

Наша организация выросла и количественно и качественно. Было пора подумать о расширении нашей деятельности. Во второй половине лета 1901 года в лесочке на Канаве собралось человек сорок пять передовых рабочих-партийцев. Василий Алексеевич Десницкий сделал доклад, обосновывающий необходимость перехода от пропаганды в кружках к массовой работе путем систематического, а не от случая к случаю, выпуска прокламаций. Доклад был заслушан с напряженным вниманием, но многие приняли его в штыки. Я ждал, что человек пятнадцать встанут стеной за новый метод работы, но они-то и выступили с наиболее обоснованными возражениями — против. Товарищи

говорили, что совершать такой переход слишком рано: нас мало, усилится слежка, и все мы будем арестованы, а это надолго запугает рабочие массы. Напрасно тов. Десницкий брал себе несколько раз слово, напрасно дважды выступал я — наши убеждения оказались бесплодными. Собрание было закрыто.

Я пошел провожать тов. Десницкого, который был очень удручен. Я уверял его в том, что товарищи согласятся с нами, надо только поговорить по одному с членами центрального кружка. Идя домой, я обдумывал случившееся и пришел к выводу, что многие товарищи не перешли еще последнюю черту, за которой все личное поглощается величием конечной цели. Дело революционного воспитания для них только начинается. Что касается членов центрального кружка, то я в них не сомневался, для них предложение тов. Десницкого оказалось просто слишком неожиданным. Так оно и вышло. Прошло не более двух недель, и вопрос об агитации был положительно решен сормовской организацией.

Была усилена конспирация. Собирались мы под видом вечеринок в разных местах и под видом кружка струнных инструментов у А. Сорокина. Мы играли, а в антрактах беседовали о партийной работе. Перед домом нередко собиралась публика послушать музыку. На первых порах наши собрания привлекали внимание властей, но мы так упорно и много играли, что на нас перестали обращать внимание. В конце концов квартира тов. Сорокина превратилась в штаб организации. Часто по пять-шесть человек собирались мы и у братьев Барановых.

В конце лета 1901 года в лесу за Сормовом было созвано собрание наиболее надежных партийцев, на котором избрали Нижегородский комитет РСДРП. От нижегородской социал-демократической группы в комитет вошли: Ладыжников И. П., Яровицкий А. В. *,

* Алексей Васильевич Яровицкий прииимал деятельное участие в работе Нижегородского комитета, работал в местной газете, писал. А. М. Горький возлагал иа него большие иадежды. Умер в 1903 году.

Пискунов А. И., Пискунова Е. И., Чачина О. И. *. От сормовской организации вошли Павлов Д. А. и я.

Связывающим звеном между сормовичами и комитетом попрежнему был И. П. Ладыжников, у которого я часто бывал. Иван Павлович всегда был ровен, спокоен, добродушен, приветлив, внимателен. Эта его уравновешенность и отсутствие громких фраз особенно мне нравились. Он никогда не говорил об опасности, хотя всегда хранил большое количество литературы, а на чердаке долго держал в корзинах целую типографию. Однажды он показал мне новый комод и предложил осмотреть его, — у комода было двойное дно; Иван Павлович, улыбаясь, сказал:

— Там наша литература, но жандармы при обыске ничего не обнаружили.

Впоследствии в этом комоде была забыта нелегальная литература, которую нашли уже после Октябрьской революции.

ДЕМОНСТРАЦИЯ

Еще осенью 1901 года Иван Павлович Ладыжников поставил предо мной вопрос о массовой политической рабочей демонстрации. В одну из моих ночевок у него под воскресенье он говорил, что все мы, передовые рабочие и интеллигенты, выслежены и в недалеком будущем будем арестованы. Мы должны завершить свою работу крупным делом — открытой политической демонстрацией против самодержавия, приурочив свое выступление в Сормове к 1 мая

---

* Супруги Александр Иванович и Екатерина Ивановна Пискуновы являлись видными деятелями нижегородского «искровского» подполья начала 900-х годов. На формирование их, как последовательных марксистов, исключительное влияние оказали две встречи с В. И. Лениным. Обе они состоялись в 1900 году: первая — в Нижнем Новгороде, когда В. И. Ленин проездом останавливался на квартире у Пискуновых, а вторая — в Уфе, где в то время в ссылке жили Н. К. Крупская и ее близкий друг и товарищ по работе О. И. Чачина, сестра Е. И. Пискуновой.

Возвратясь в Нижний Новгород, Пискуновы держат постоянную связь с ленинским заграничным центром — «Искрой». Эта связь сказывалась на всей деятельности первого Нижегородского комитета. Е. И. Пискунова была секретарем Нижегородского комитета.

1902 года. На красном знамени, под которое мы обязаны привлечь как можно больше рабочих, должен быть лозунг «Долой самодержавие!» По мнению тов. Ладыжникова демонстрация будет содействовать закалке партийной организации, встряхнет и революционизирует рабочую массу, придаст более широкий размах рабочему движению.

Ведущая группа сормовской организации, в которую я входил, со всей страстью начала работу по подготовке политической демонстрации. Нижегородский комитет РСДРП снабжал нас прокламациями и нелегальной литературой.

Идея открытого демонстративного выступления против самодержавия становилась все более популярной, — мы готовили к массовому выступлению рабочих.

Надо было решать вопрос о знаменосце. Я знал, что есть статья закона, которая за публичный призыв к ниспровержению существующего порядка карает смертной казнью через повешение, а лозунг «Долой самодержавие!», написанный на знамени, поднятом над большой толпой, конечно, является таким призывом. Значит, знаменосец будет повешен...

Кто понесет знамя?

Надо было провести демонстрацию так, чтобы произвести впечатление на рабочие массы. Малейшая трусость, малейшая нерешительность знаменосца могли все испортить. Кроме того, надо было во что бы то ни стало сохранить организацию и товарищей, которые будут захвачены, а для этого, по моему мнению, знаменосец должен будет на суде отмежеваться от организации и взять всю ответственность только на себя.

На одном из собраний сормовского центрального кружка мы постановили созвать собрание наиболее надежных и сознательных членов кружков. Мы собрались в конце февраля в деревне Починках, в доме братьев Урыковых, вечером; было нас 61 человек, не считая патрулей. Из интеллигентов присутствовали член Нижегородского комитета Алексей Васильевич Яровицкий, Софья Сергеевна Карасева, пропагандистка-учи-

тельница Жозефина Эдуардовна Гашер. С предложением о демонстрации все согласились. Лозунги — «Да здравствует 8-часовой рабочий день!», «Долой самодержавие!» — были приняты без прений. Мы постановили, чтобы товарищи, не известные полиции и сыщикам, в демонстрации не участвовали и остались на смену тем, которые будут арестованы. Самую демонстрацию назначили на 1 мая, а если будет дождливая погода, то на первое воскресенье после 1 мая. Демонстрация должна быть мирной, и члены партии явятся на нее без оружия. Каждый член партии обязывался привлечь на Главную улицу, где должна была происходить демонстрация, возможно больше рабочих. Под конец собрания я заявил, что знамя с лозунгом «Долой самодержавие!» понесу я, что это мое право, как самого старого социал-демократа из сормовской организации. Возражений не последовало.

После общего собрания работа по подготовке демонстрации развернулась с новой силой. Все усиливающийся выпуск прокламаций так встревожил жандармерию и полицию, что в Сормове появился отряд конных стражников, которые день и ночь разъезжали по Сормову и между Сормовом и Канавином, обыскивая пешеходов и едущих на извозчиках, в надежде захватить прокламации.

По заказу Нижегородского комитета РСДРП в Сормове были сделаны два мимеографа с валиками. Эти мимеографы надо было доставить в Нижний Новгород. Доставку я взял на себя. Запасшись большой салфеткой и овчинным полушубком, я связал мимеографы веревкой, небрежно завернул их в полушубок и так же небрежно завязал в салфетку. Узел получился большой, громоздкий и неуклюжий, мех торчал во все стороны. Моих товарищей пугал вид узла; они находили, что узел надо сделать возможно меньше, стянуть его как можно сильнее и скрыть от глаз мех. Мне советовали не входить на станцию, предлагали взять билет и обязательно проводить меня.

— Билет возьму сам, — ответил я, — никаких провожатых мне не нужно, это может только навлечь подозрения и сорвать дело.

Все же за мной увязались на станцию Стефан Погнирыбко, Михаил Самылин, Митя Павлов и Леня Баранов. У кассы по обе стороны барьерчика стояли два жандарма. Я прошел мимо одного, ткнул его узлом, извинился и взял билет. Потом ткнул узлом другого, опять извинился, вышел на перрон и сел в вагон. Оказалось, что товарищи тоже сели в поезд, и когда я вышел из вагона на Канавинское шоссе, они нагнали меня. Вместе дошли мы до квартиры моей сестры, Александры Андреевны Павловой. Я взмок от тяжелого узла, и сестра дала мне сухую рубашку. Мы попили чаю и пошли в нижегородский театр на галерку. После товарищи пошли в Сормово, а я переночевал у сестры. Рано утром, завернув мимеографы в газетную бумагу, я отнес их к Ивану Павловичу Ладыжникову и успел во-время вернуться на работу в Сормовский завод.

После этого случая я ни разу не напоминал товарищам о мимеографах, но ясно видел, что мой урок не пропал даром. Вскоре мне рассказали, как товарищи шли ночью в двадцати саженях за конным отрядом стражников и разбрасывали прокламации. Среди сормовской партийной организации было немало товарищей, превосходящих меня умом, способностями, энергией, быть может, и врожденной храбростью, но мое преимущество заключалось в том, что я перешел последнюю черту в пятнадцать с половиной лет и имел за своими плечами уже десять лет революционной работы.

Нижегородский комитет специально обсуждал вопрос о сормовской первомайской демонстрации. Заседание было созвано в апреле 1902 года в Канавине, в Бабушкинской больнице, в квартире фельдшерицы Александры Мартемьяновны Кекишевой (тов. Кекишева была только что кооптирована в члены Нижегородского комитета РСДРП). И. П. Ладыжников, кажется, был в отъезде. Кроме меня, прибыло только два члена Нижегородского комитета — А. В. Яровицкий и А. И. Пискунов, участвовала в заседании и Жозефина Эдуардовна Гашер. Не было, к сожалению, Ольги Ивановны Чачиной — нашей пламенной революционер-

ки. Предложение о первомайской демонстрации комитет одобрил. Споры начались с вопроса о том, кто понесет знамя. Кто-то сказал, что знамя должны нести интеллигенты, А. И. Пискунов настаивал, чтобы знаменосцами были рабочие. Я поддержал Александра Ивановича, и его предложение приняли. Перешли к лозунгам на знаменах. Предлагали: «Да здравствует 1 Мая!», «Да здравствует российская социал-демократическая рабочая партия!» и «Да здравствует 8-часовой рабочий день!». Я вместо «Да здравствует 1 Мая!» предложил лозунг «Долой самодержавие!». Против моего предложения выступил Пискунов. Он всячески доказывал, что такого лозунга на знамени писать не следует, так как он слишком опасен. Мы долго спорили, я не сдавался. Тогда он предложил вместо «Долой самодержавие!» лозунг «Да здравствует политическая свобода!». Я упорно стоял на своем, говорил, что второй лозунг не содержит призыва к ниспровержению самодержавия. Александр Иванович убеждал меня и доказывал, что второй лозунг вполне заменяет первый, но он менее опасен. В конце концов решили объединить оба лозунга и написать на знамени: «Долой самодержавие! Да здравствует политическая свобода!»

Перешли к вопросу об участии в демонстрации интеллигенции. Раздались голоса за участие интеллигенции, причем особенно настаивала на этом Жозефина Эдуардовна Гашер. Она говорила: «Мы учили рабочих, мы призывали их к борьбе против капиталистов, против самодержавия и должны на деле доказать свою готовность итти с ними рука об руку». Мнение Жозефины Эдуардовны было горячо поддержано А. М. Кекишевой и вслед за ней А. В. Яровицким.

До демонстрации было еще два собрания в Канавине, на которых обсуждался ход подготовки к демонстрации; мы обменивались мнениями о настроениях рабочих, о характере необходимых прокламаций. Третье собрание по поводу демонстрации мы провели на двух лодках во время ледохода.

Слежка все усиливалась, трудно стало провозить прокламации. Пришлось прибегнуть к помощи моей матери. У нее уже имелся некоторый опыт. Во время

иваново-вознесенской стачки она возила запакованный в рогожу тюк прокламаций в Иваново-Вознесенск. Перед этой поездкой она расспрашивала, что с ней сделают, если обнаружат прокламации, — боялась пыток. Я объяснил ей, что пытать не будут, так как она старуха, а только подержат в тюрьме и сошлют в Сибирь; самое большее, что с ней могут сделать, — это повесить.

— Смерти я не боюсь, только бы не пытали, — ответила мать и согласилась ехать.

На вокзале она заметила, как в один из вагонов входил жандарм, вошла в этот вагон, сунула тюк под лавку и села рядом с жандармом. Дорогой она занимала его разговорами. Когда она вернулась, я крепко пожал ей руку, поблагодарил и сказал, что люблю и уважаю ее. Она была поражена моей необычайной лаской, засияла от счастья, прижав руку к сердцу.

Перед демонстрацией она привезла в Сормово прокламации в ведрах, прикрыв их сверху кислой капустой. Она опять нашла жандарма и села рядом с ним. На этот раз уже жандарм ее расспрашивал, и она рассказывала, что живет в Печёрах, выдала дочку за рабочего и везет ей кислую капусту в подарок, что ее капуста особенная и что в Сормове она весной дорога.

Мать же привезла от Ивана Павловича Ладыжникова и знамена. Митя Павлов и Сеня Баранов спрятали их в ельнике за Сормовом в песок.

Было еще одно собрание в лесу, в пасхальную заутреню, утвердившее добавление к лозунгу «Долой самодержавие!», а последнее собрание — ночью 29 апреля, тоже в лесу, с целью поднять настроение, и это было достигнуто. Когда расходились, лес гремел от революционных песен.

Первого мая мы, партийцы, на работу не пошли, хотя с самого утра шел дождь, и демонстрация, согласно постановлению общего собрания, должна была быть перенесена на воскресенье.

Собрались у Александра Сорокина человек десять с гуслями, гитарами, мандолинами; играли, беседовали. Время тянулось томительно долго, дождь то перемежался, то снова лил. С обеда погода стала улуч-

шаться. Командировали на Главную улицу двух человек на разведку. Часам к шести вечера товарищи вернулись и сообщили, что на Главной улице громадная толпа. Мы решили провести демонстрацию немедленно. Моя квартира была близко, я отнес гитару домой и сказал своей сестре Елизавете, чтобы она все прибрала, что я иду на демонстрацию и возможно буду арестован.

Еще с утра носились слухи, что привезли два орудия, а в запасных мастерских спрятаны две роты солдат. На Главной улице народу было тысяч до пяти. Быстро стали собираться партийцы. Вначале пришло несколько человек пьяных. Я был страшно возмущен, ругался, говорил, что такое отношение к демонстрации позорит организацию, что нам нужна не пьяная храбрость, а сознательное мужество революционеров.

Собралась группа человек в двести. С пением революционных песен, с криками «Долой царя, долой самодержавие!» мы три раза прошли запруженную рабочими часть улицы. Раздались предложения пронести знамена. Некоторые из рабочих, которые пришли выпивши и возможно были спровоцированы, потребовали, чтобы демонстрация шла громить завод. Я и Миша Самылин удерживали их от этого.

— Наша задача вовсе не в том, чтобы разрушать машины, — убеждали мы, — а в том, чтобы путем политической демонстрации революционизировать рабочие массы. Группа человек в пятьдесят все же направилась к заводской конторе. Остальные пошли в обратном направлении.

Пришла весть, что к заводу идут солдаты. Леня и Сеня Барановы, Митя Павлов и я чуть не бегом отправились за знаменами и, спрятав их под пиджаками, быстро возвратились. Дорогой я условился с товарищами, что для сохранения сил организации в момент сближения с солдатами знамена надо будет свернуть и слиться с рабочей массой.

Прибытие солдат делало нашу демонстрацию значительнее, так как привлекло к ней больше внимания и давало возможность сильнее воздействовать на сознание рабочих. Я решил со знаменем в руках один

пойти на солдат, чтобы они подняли меня на штыки на глазах всей рабочей массы, считая, что это произведет гораздо большее впечатление, чем мое повешение где-то в застенке.

Когда мы пришли к ожидавшим товарищам, я первым долгом познакомил их с планом демонстрации: мы обязаны сохранить для революционной работы возможно большее количество товарищей, а поэтому организованно отступим и сольемся с толпой, когда солдаты будут близко; сигналом к отступлению послужит склонение знамен. Все приняли этот план.

Знамена были прикреплены к древкам, и мы двинулись вперед. Чтобы рабочие могли читать надписи, знамена все время поддерживали в развернутом виде. Мое знамя с лозунгом «Долой самодержавие!» поддерживал сначала Петр Дружкин, потом еще какой-то товарищ, а потом, до самого конца, Митя Павлов. Рядом со мной шел Михаил Самылин. Мы шли по направлению к Дарьинской проходной. Пели «Варшавянку», перед самым столкновением с солдатами — «Вы жертвою пали». Сплошная толпа заполнила обе стороны широкой улицы, образуя живой коридор. Наше пение попрежнему сопровождалось криками «Долой царя!», «Долой самодержавие!».

Когда мы подходили к ручью, который, разлившись от дождя, пересекал улицу, раздался барабанный бой, и из переулка вышла рота солдат в полном боевом снаряжении. Расстояние между нами и солдатами быстро уменьшалось. Мы были безоружны против вооруженных до зубов солдат, но ни один не дрогнул, не покинул рядов. Мы шли и пели. Было отчетливо слышно, как офицер скомандовал:

— Ружья на руку! Бегом марш!

Мы были у ручья, когда солдаты со штыками наперевес ринулись на нас. Мгновение — и два малых знамени сорваны с древков и спрятаны под пиджаками. Демонстранты, как было условлено, слились с толпой и скрылись в ней. Осталась небольшая кучка. Митя Павлов потянул мое знамя к земле. Но я с силой вырвал знамя, высоко поднял его кверху. Затем, прыгнув через разлившийся ручей, пошел на штыки.

Это был высший момент счастья в моей жизни, и только Октябрьская революция затмила его. Мне казалось, что солдаты движутся слишком медленно, — я прибавил шагу. И вот уже близко бледные, испуганные лица солдат... «Боятся бомбы», — мелькнула в мозгу торжествующая мысль... Сейчас... Мне казалось, что солдаты не смогут остановиться и будут бежать с моим трупом на штыках. Рота стала без команды. Щетина штыков поднялась кверху. Я сам наткнулся на передних солдат.

Знамя вырвал офицер. Мои руки схватили, в грудь, в спину, в плечи посыпались удары прикладов, чьи-то руки шарили по карманам. Я не чувствовал боли, но крикнул солдатам:

— За что вы меня бьете?! Разве я разбойник или вор?!

И разом прекратились удары, опустились приклады. Разжались руки. Но своих рук я уже не мог поднять, они повисли как плети. Меня окружили и повели. Рота шла сзади. Я шагал, считая своих конвоиров. Их было двенадцать. И опять в мозгу гордая, торжествующая мысль: «Боятся! Одного! Безоружного... Что же будет, когда мы все будем сознательными?..»

Толпа быстро редела. Среди солдат я был один, и меня охватила радость. Значит, никто не арестован...

Мы поравнялись с целой сворой полицейских, которые били по лицу человека с черной бородой. Лицо его было в крови. Избитого передали солдатам. Было уже почти темно, когда захватили еще какого-то маленького человечка, но я его не рассмотрел.

ЗА РЕШЕТКОЙ

Меня привели в участок пристава при заводе. Мое появление было встречено торжествующими криками:

— Ага! Попался!

Какой-то толстый краснолицый человек, с большой рыжей бородой, орал:

— Красного зверя поймали! Ведите к его превосходительству!

Меня ввели в комнату, и я увидел перед собой

губернатора Унтербергера и еще каких-то людей. Губернатор спросил:

— Где ты взял знамя?

— Я отказываюсь давать показания.

— Ну, вот видите! Я говорил! — сказал губернатор и вышел из комнаты. Солдаты исчезли, кругом стояли полицейские, жандармы и какие-то люди в штатском платье. Чей-то голос кричал:

— Сукины дети! Свободы захотели! Я вам покажу свободу!..

Я повернул голову на крик. В этот момент меня ударили в затылок, под ложечку, в живот, по темени. Люди, комната — все зашаталось, поплыло. Я рухнул на пол. Меня били, но это уже не усиливало боли. Я был оглушен, мне казалось, что мой череп расколот. Душила острая тошнота и сильная боль под ложечкой. Но все это заглушала резкая колющая боль в сердце, захватывающая дыхание. Я потерял сознание.

Очнулся я от воды, которую мне лили на голову. Сделал попытку подняться, но не смог пошевелиться. Все мое нутро выворачивалось, меня тошнило. Снова начали бить. Кто-то крикнул: «Не бейте по лицу!» Бить перестали. Я сделал снова попытку подняться, но опять не смог, хотя меня уже никто не держал. Тщательно напрягал я свою волю, чтобы взять себя в руки, но каждый мускул моего тела трепетал.

— Ага! Закис... — жандарм отвратительно выругался.

Раздался смех, и он был больней удара.

— Сознавайся, кто дал тебе красное знамя?

— Вы не смеете меня бить! Я буду жаловаться губернатору!

От злобы и ненависти мой голос был тверд. Но сердце болело невыносимо, я с трудом произносил слова, не мог удержать трепета тела. И от сознания этого еще более усиливалась моя злоба, желание как-то отомстить за свое невыносимое унижение.

Посыпались возгласы:

— А ты думал, с тобой целоваться будут?! Тебя убить мало! Против царя пошел! Вешать всех вас надо. Губернатор об тебя, сукина сына, не захотел рук ма-

рать, а то бы он тебе пожаловался! Он сам говорил, что всех вас перепороть надо. Говори, где взял знамя?

— Я отказываюсь давать показания... — Моя фраза была прервана ударом в зубы. Потекла кровь. На меня навалилось что-то тяжелое, — меня снова били. Я задыхался от боли в сердце, мне казалось, что оно разрывается и я умираю...

Очнулся я в маленькой комнате на нарах. Из-за решетки в двери падал свет лампы. Хотелось кашлять. Я кашлянул, сплюнул — во рту ощущался все тот же солоноватый вкус. Попытался подняться и не смог. Мне казалось, что все мои кости переломаны. Боль от побоев становилась все сильнее и сильнее, палила меня огнем. Но я страдал еще больше, чем от боли, от жгучего стыда за себя, за то, что я не смог сдержать дрожи и слез, вызванных побоями. Мне хотелось кричать. Лились слезы, но это были слезы, которые не облегчают. Я хоронил, я оплакивал свою воображаемую силу. Моим любимым героем был Степан Тимофеевич Разин, и я мечтал развить в себе, хотя частично, ту железную волю, какая была у него. Ни один мускул лица не дрогнул у Разина от самых жестоких пыток, не дрогнул и тогда, когда у него отрубили ногу и руку. А у меня лились слезы и трепетали все мускулы тела от простых побоев полицейских. Правда, я не издал ни одного стона, но жандармы видели мою слабость и бросили по моему адресу унизительный эпитет.

И как идиотски глупа была моя апелляция к губернатору!.. Я хотел жаловаться охотнику на псов, которых он же на меня натравил. Мои уши горели от жгучего стыда за свою глупость. А дальше еще хуже... Я представлял себе, как хохотали бы мои товарищи, если бы могли видеть эту сцену: знаменосец, противник царизма и капитализма падает в обморок, как слабая истеричная женщина. Я боялся, что об этом все узнают и что это произведет на товарищей плохое впечатление. Я негодовал даже, что полицейские и жандармы не убили меня. Быть убитым вовсе не позорно, но побои без всякой возможности сопротивления были для меня нестерпимо унизительны. И я решил ничего

не рассказывать товарищам. Впоследствии, когда я встретился с Михаилом Самылиным, то сказал ему, что от солдат получил несколько слабых ударов прикладами, а у пристава был допрошен губернатором и спал в клоповнике так крепко, что не чувствовал, как меня кусали клопы.

Взошло солнце, стало совсем светло. Постепенно боль стала слабеть. Мое тело начало оживать. Мои руки и ноги болели, но двигались свободно. Ощупал ребра — все они оказались целыми. Поднял рубашку — на теле виднелись самые обыкновенные кровоподтеки, какие бывают от ушибов. Я повеселел. Мое настроение поднималось: арестовали на улице мало людей, из меня ничего не вытянули и никогда не вытянут, — в этом я не сомневался.

Я подошел к двери — за решеткой стоял часовой с винтовкой, подошел к окну — под окном также. Стало совсем весело. Я видел, что меня стерегут, как клад, и хотя мое тело все еще болело, я лег на нары и крепко заснул. Сон успокоил мои нервы. Когда я проснулся, что-то давило на сердце, но колющих болей уже не было. Из-за двери слышались шаги. Знакомый голос кричал: «Сукины дети! Свободы захотели! Я вам покажу свободу!» Слышны были звуки ударов. Я понял, что идет допрос, сопровождаемый «отеческим внушением».

Часов в десять утра ко мне допустили сестру, Елизавету Андреевну Гаринову. Оплошавший часовой разрешил ей войти для передачи пищи. Она вошла и сейчас же ушла, но успела шепнуть, что Баранов, Павлов, Погнирыбко, Громов не арестованы. Сообщение сестры доставило мне большую радость. Особенно я был доволен тем, что не арестован Митя Павлов *. Я сделал вывод, что полной картины демонстрации у полиции нет и, следовательно, число жертв будет не так вели-

---

* Дмитрий Александрович Павлов, по отзывам всех знавших его, — горячий пропагандист и агитатор, превосходный организатор, человек огромного обаяния. После ареста П. А. Заломова Павлов возглавил сормовскую партийную организацию, но вскоре был арестован и выслан. Из ссылки бежал и в ноябре 1904 года вел работу в Ярославле вместе с Я. М. Свердловым. В 1905 году

ко. Сестра пришла еще раз и принесла мне обед, но во второй раз ее ко мне уже не допустили, обед был передан часовым. Пробовал я заговаривать с часовым у окна, но он боязливо шепнул, что приказано не разговаривать. Водили каких-то людей, по виду рабочих, для допроса, но я уже ничего не мог услышать — завалился спать.

Ночью меня разбудили и приказали выходить. Вновь окружили меня двенадцать солдат под командой офицера и повели. Привели на пароход. Мне приказано было сесть на палубе, солдаты расселись вокруг меня, офицер спустился в каюту. Я выждал несколько минут и тихо заговорил:

— Вот вы меня арестовали, избили прикладами и теперь везете в тюрьму, как дикого зверя в клетку. Мне даже не дали проститься с родной сестрой. Я рабочий из крестьян, мой младший брат, как и вы, служит в солдатах. Он, может быть, тоже кого-нибудь арестовывает, тоже кого-нибудь избивает прикладом, тоже кого-нибудь ведет в тюрьму. Но я знаю, однако, что избивает он и ведет в тюрьму не помещика, не фабриканта, не богатого купца, а крестьянина, рабочего. Вы тоже не дворяне, не помещики, а рабочие и крестьяне. Я и вы — братья.

Меня прервал шопот нескольких солдат:

— Тише! Офицер идет.

Офицер вышел на палубу, постоял, посмотрел вокруг и вновь спустился в трюм. Очевидно, ничего подозрительного он не обнаружил и больше не возвращался. Так же тихо стал я продолжать; меня слушали с захватывающим интересом, с напряженным вниманием.

— Вам говорят, что вы должны защищать веру и царя. Вас был целый батальон. Ваши сумки были полны боевыми патронами. Почему вас не повели против помещиков, против фабрикантов, капиталистов,

снова в Нижнем, член Нижегородского комитета партии, затем в Москве. Принимает участие в работе Московского комитета партии. Ко второй русской революции Д. А. Павлов — член Петроградского бюро ЦК. Умер в 1920 году, будучи военкомом 3-й бригады 14-й стрелковой дивизии.

которые выжимают из рабочих и крестьян все соки, обрекают их на нищету, а сами живут в роскоши? Почему вас не повели против попов, против монахов, которые велят нам молиться, трудиться и поститься, а сами ничего не делают и лопаются от жира? Кем переполнены царские тюрьмы? Рабочими и крестьянами. Кого шлют в Сибирь на каторгу, в вечную ссылку? Рабочих и крестьян. Вы не найдете там помещиков, фабрикантов, князей, богачей, попов. Царские суды, царская полиция созданы не против помещиков и капиталистов, а против рабочих и крестьян.

Долго я беседовал с солдатами, объясняя им механику капиталистического общества. Только подъезжая к Нижнему Новгороду, я умолк, солдаты тоже молчали. Но я знал, что они сочувствуют нам, — я не забыл и не забуду до самой смерти их предупреждающего шопота. Их было двенадцать, и ни один из них не выдал меня, иначе я был бы привлечен за призыв солдат к свержению царя.

Беспечный офицер вылез на палубу, пароход подошел к пристани. Снова меня взяли в кольцо. Другой, больший отряд вел следом за мной арестованных товарищей, но я не мог определить даже их количество. Нас посадили в вагоны трамвая, меня отдельно. С обеих сторон скакали стражники и конная полиция. Стало уже светать, когда меня вводили в ворота нижегородской тюрьмы, где и водворили во втором этаже, в одиночку башни.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ТЮРЬМА

Оставшись один в камере башни, я запел песню. Стало уже совсем светло. Через некоторое время раздался грохот первых железных дверей, потом вторых, и в камеру вошел крохотный надзиратель.

— Здесь петь нельзя.

— А почему нельзя?

— Здесь тюрьма, а не трактир.

— А мне какое дело!

— Начальник посадит в карцер.

— Ну и пусть сажает! Я и в карцере могу петь, — рот не заткнете.

Надзиратель ушел. Часа через два вновь загремели железные двери, и в камеру вошел человек с большой черной бородой, в сопровождении двух надзирателей.

— Встать! Шапку снять!

Я остался сидеть в своем кепи.

— Сними шапку и встань!

— Снимите сами, тогда и я сниму.

— Я начальник тюрьмы.

— А мне какое дело, что вы начальник тюрьмы? Я прошения не подавал, чтобы меня сажали в тюрьму!

— Ты арестант и должен подчиняться тюремным правилам.

— Я не вор и не убийца, а честный рабочий, и не виноват, что вы не хотите заниматься честным трудом, а стали начальником воров и разбойников.

— Я посажу тебя в карцер за дерзость и неподчинение.

— Разве вы исполняете и роль палача?

Начальник повернулся и ушел вместе с надзирателями. Я ходил по камере и торжествовал. Но моя радость оказалась преждевременной. Снова загрохотали двери, снова в камеру вошел начальник, а с ним три надзирателя. Начал разговор не начальник, а самый здоровый надзиратель:

— Сними шапку!

— Не сниму.

— Сними!

— Не сниму.

Ударом под ложечку я был свален на пол, меня истоптали ногами и ушли. Все произошло так быстро, что было бы похоже на сон, если бы не оставшаяся боль. Я долго лежал на полу, потом, еле поднявшись, лег на голые нары.

Мне рассказывали, что политических не бьют и обращаются с ними вежливее, чем с уголовными. Оказалось не так. Я лежал и обдумывал положение. Для меня было несомненно одно, что я сделал глупость и что тюрьма действительно не трактир. Но мне противно было вставать и снимать шапку перед всякой сволочью.

Я ждал, что меня отведут в карцер — это было бы даже интересно, но этого не случилось. Мне принесли набитый соломой тюфяк, такую же подушку и серое шерстяное одеяло. Мое тело болело, и я с удовольствием лег на постель. В обед принесли в деревянной чашке щей из кислой капусты и большой кусок черного хлеба, но к пище я не притронулся, — мучила боль в животе и есть не хотелось. Дня через два я получил от матери подушку, табурет и небольшой квадратный столик. Начальник тюрьмы оказался не таким уж извергом, как мне казалось, — он даже разрешил моей матери приносить мне ежедневно обед. Оправившись от побоев, я снова стал петь песни, не обращая внимания на протесты надзирателя, который в конце концов перестал мне надоедать.

Моя камера, до того как меня в нее посадили, служила складом. В ней было темно и сыро, маленькое полукруглое оконце с толстыми железными прутьями расположено высоко вверху. Я быстро изучил несложную тюремную жизнь. Утром поверка. Приходил начальник с двумя надзирателями и всегда заставал меня на ногах, грохот первой двери предупреждал меня. Кепи я уже не надевал, мои волосы были очень густы, и мне не было холодно. Мать прислала мне жестяной чайник с посудой, и я утром и вечером пил чай. Два фунта черного хлеба надзиратель приносил утром. Тюремный обед разносили в двенадцать часов, но я от него отказался. Приносили подаяния — яйца, булки. Сообщили мне, что в конторе имеются мои деньги и я могу их расходовать. Надзиратель покупал по моей просьбе самого дешевого сыру, старательно обкрадывая меня.

Самым лучшим временем был промежуток между вечерней и утренней поверкой, когда никто не надоедал, не лез в камеру. Я ставил к окну столик, на него табурет, залезал на табурет, раскрывал окно и смотрел на вечернее небо, на звезды. Так, стоя, я пил чай на полной свободе, зная, что ко мне до утра никто не придет. Чайник привязывал носовым платком к пруту решетки. Перепробовал отверстия между прутьями и нашел одно более широкое, — через него я ставил

на узкий подоконник стакан. Стоять долго было утомительно, и я задумал сделать подвесную скамейку. По утрам в уборной я понемногу выдергивал мочалу из швабры и прятал ее под тюфяк. Меня стали выпускать на получасовую прогулку. Гулял я один, под надзором часовых и надзирателя, но все же улучил момент и спрятал под пиджак найденную в трех саженях от дорожки палку. Заметил я и дощечку вершка в три шириной и четверти в три длиной, но она долго была недосягаемой, так как лежала далеко от дорожки, под самой тюремной стеной. Из мочалы я свил толстую веревку с петлями на концах, а палку постепенно надгрыз зубами и переломил надвое. Длинная часть палки служила мне для сиденья у окна ночью, короткая — для прикрепления трапеции к решетке окна. Ночью я на палку стлал сложенное одеяло, но сидеть все же было неудобно.

Недели две я мечтал взять дощечку, но сделать это никак не удавалось; наконец после ряда ухищрений я поднял ее и спрятал под пиджак. Меня уже привели в камеру, как вдруг пришел второй надзиратель и сказал, чтобы меня вели к товарищу прокурора. Кто-то увидел из окна, как я брал дощечку, и донес. Привели меня к товарищу прокурора, обыскали и отобрали дощечку, затем обыскали камеру и отобрали веревку и палки. На следующий же день я принес с прогулки вторую палку и снова стал заготавливать мочалу для веревки. Сделал трапецию для стояния у окна днем, а после проверки стал подвешивать к решетке одеяло в виде гамака, с помощью двух коротких палочек и затяжных петель для одеяла. Теперь я мог смотреть на дневное и ночное небо сколько мне хотелось, а ночью часами сидел в гамаке, размышлял и пил чай. Боялся обыска, но второй раз меня так и не обыскивали.

Я попросил начальника тюрьмы разрешения получать книги с воли. Ответ гласил, что это запрещено прокурором, однако я могу брать книги религиозно-нравственного содержания из тюремной библиотеки. В библиотеке была сплошь монархическая дребедень. Я почитал немного и бросил.

Стал надоедать своим посещением товарищ прокурора. Я сразу заявил, что отказываюсь давать показания, и повторял это при каждом его посещении. Он был очень вежлив, обращался на «вы», но надоедал страшно: все приставал, чтобы я сознался в участии в подпольной организации, рассказал бы, кто дал мне знамя, кто участвовал в демонстрации и так далее. Чтобы от него отвязаться, я заявил, что расскажу все, что знаю, но что это бесполезно, так как он мне все равно не поверит.

— Расскажите, — обрадовался товарищ прокурора, и я сообщил, что по улице гуляло много народу, кто-то дал мне красный флаг, я его взял и пошел гулять вместе с другими. На нас напали солдаты и флаг у меня отняли, а меня избили прикладами и арестовали. На флаге никакой надписи не было. Я говорил и улыбался, а он страшно злился, но сохранял вежливость. Когда я кончил, он начал говорить, что моему рассказу и ребенок не поверит и что я должен давать свои показания серьезно. Но все же записал мои слова, дал подписать и перестал ко мне ходить.

Я был очень рад, что избавился от одного надоедливого. Но вскоре меня посетил жандармский полковник Осипов. Я с самым серьезным видом рассказал ему то же самое, он также записал, предложил мне подписать и ушел.

Через три месяца меня из одиночки башни перевели в одиночку в деревянном здании во втором дворе тюрьмы, который был окружен двойным частоколом из заостренных бревен. Но здесь нам разрешали гулять по двору группами почти целый день и нередко оставляли часть камер незакрытыми. Здесь я встретился с Мишей Самылиным и с учащейся молодежью, арестованной за демонстрацию 5 мая в Нижнем Новгороде, около Александровского сада. Мы гуляли по двору, а когда были в камерах, то пели песни, и никто этого не запрещал. Познакомился я со студентами — Сысиным, Сергеем Моисеевым, Костей Дертевым, с рабочим кустарной мастерской столяром Михайловым и другими.

В сентябре нас опять перевели в главный корпус,

во второй этаж. Миша Самылин попал к сормовским рабочим, а меня и Михайлова поместили в общую камеру со студентами Дертевым и Георгиевским, учеником технического училища Гусевым и гимназистом Даниловым. Мне стали носить очень хороший обед от А. М. Горького. В камере всю ночь горела электрическая лампочка. На прогулку выпускали всей камерой. Мы начали агитировать часовых, но поддался только один молодой парень. Некоторые часовые гнали от окна и, вскидывая винтовку, грозили стрелять. Но когда стоял наш часовой, можно было влезть на окно и глядеть через стену в поле. Начальник к нам на поверку не ходил, а являлись два его помощника. По утрам мы лежали, на команду «встать» не обращали внимания, продолжали лежать; с нами ничего не могли поделать.

Один раз надзиратели учинили побои над несколькими сормовичами за то, что те не хотели заходить из коридора в камеру. Все заключенные начали стучать в двери, кричать: «Не смейте бить!» Наша камера тоже приняла в этом участие; разъяренные надзиратели грозили стрелять в нас из револьверов через глазок дверей.

Мы часто хором пели песни, никто нам не препятствовал. Рядом в камере уголовных составился тоже хороший хор, только он часто пел похабные песни на церковные мотивы. Стали приносить книги с воли. Мне разрешили для чтения купить стеариновую свечку. Стеарином свечи я пользовался для варки яиц. Кастрюлькой служила эмалированная кружка, очагом — кусок жести, углы которой я отогнул в виде ножек, а в выдавленном посередине углублении зажигал стеарин, который давал достаточно сильное пламя, чтобы вскипятить кружку воды или молока, сварить пару яиц. Зажигали стеарин с помощью фитиля, а потом он горел уже без фитиля.

Как-то ночью бежали трое уголовных. Они подпилили решетку в камере нижнего этажа, переоделись, вылезли во двор и с бочками ассенизаторов прошли через двое ворот мимо часовых, которые сами же от-

крыли им ворота и дали возможность скрыться. После этого пошли строгости, и часовые уже стали сгонять нас с окон под угрозой стрелять.

ПЕРВАЯ ГОЛОДОВКА

Однажды ночью была сильная гроза, и я, любуясь ею, долго стоял у окна в одном белье и сильно простудился. Под утро у меня поднялась температура, а утром наша камера получила приглашение участвовать в голодовке с целью добиться от прокуратуры разрешения свиданий с родственниками, на что по закону мы имели право, так как следствие по нашему делу было уже закончено. Наша камера приняла предложение, мы приготовились к длительной голодовке. Договорились, что заболевшие товарищи не должны были сопротивляться отправке в больницу и лечению, должны были в больнице есть.

Я предложил отказаться не только от пищи, но и от питья, на что товарищи не согласились.

Камера сормовичей также присоединилась к голодовке. Но я знал, что среди них есть недостаточно дисциплинированные товарищи, которые, не подчинившись постановлению сормовской организации, явились на демонстрацию Первого мая пьяными и пытались увлечь участников ее на погром завода. Поэтому я боялся срыва голодовки, а так как считал себя ответственным за сормовичей, то заявил товарищам по камере, что я не только есть, но и пить не буду. Меня отговаривали, но я, не упоминая о причинах, заявил, что своего решения не изменю. Мои опасения оказались не напрасными. После выяснилось, что организатором срыва голодовки был провокатор Богатырев. На второй же день пять сормовичей начали тайком есть, сговорившись с уголовными, которые прятали для них черный хлеб в печке уборной.

Вследствие простуды у меня заложило нос, я мог дышать только через рот, отчего жажда сделалась еще более мучительной. К вечеру первого же дня голодовки я уже совершенно лишился голоса, слизистая оболочка горла и рта пересохла и кровоточила. Вече-

ром на поверку пришел старший надзиратель и, увидев мой рот, пошел к начальнику тюрьмы. Последний вызвал тюремного врача Доморацкого и вместе с ним явился в нашу камеру. И начальник тюрьмы и врач определили, что я выпил серной кислоты и обжег себе слизистую оболочку рта и горла. Товарищи уверяли их, что я никакой серной кислоты не пил, а только отказался от питья, но они не верили, уговаривали меня пить. Врач говорил, что мое упорство угрожает мне смертью, так как в горле могут сделаться язвы и тогда жизнь спасти будет нельзя. Я отрицательно мотал головой. Врач, очевидно, был человеком добрым, да и начальник, несмотря на прошлую ссору, видимо, был взволнован, он не кричал, не грозил, а просил, и не как начальник, а просто как человек. Обычное средство самозащиты революционеров казалось ему чем-то необыкновенным, трагическим. Я не сдавался.

Ночь была для меня тяжелой, больной организм требовал воды, дыхание жгло слизистую оболочку горла и рта, но отступать я не мог. Утром мне стало легче, температура понизилась. Сормовцы узнали о моем состоянии. То один, то другой подзывал меня к «глазку» и уговаривал, чтобы я пил, но я отрицательно мотал головой. На лицах я видел болезненную гримасу сострадания и был рад, что пример увеличивает выдержку товарищей.

Кончился еще один длинный, бесконечный день. Стало значительно прохладней, но температура у меня снова поднялась. Наступила ночь. Я тихо лежал на нарах, бок о бок со спящими товарищами. В полубреду мой мозг болезненно работал. Тяжкая смерть от жажды, около воды, меня так же мало пугала, как и «праздничная», легкая смерть на солдатских штыках, как еще более легкая смерть на виселице. Я хотел победы.

В моем мозгу звучала «Песня о Соколе» — самая моя любимая песня из всех, какие я знал. Я хотел упасть с высокого неба и разбиться, как смелый Сокол. Я понимал, я чувствовал счастье битвы и наслаждался этим. Мне казалось, что такие, как я, побеждают и ведут к победе других. Долгая, нудно-спокойная жизнь,

без порывов, без борьбы за идеи коммунизма казалась мне ужасной, нестерпимой,—казалась не жизнью, а медленным тлением, смертью. И снова, как после бесед с сестрами Невзоровыми, я почти физически видел колонны мирового пролетариата, идущего в бой, почти явственно слышал железный топот идущих.

Так прошла ночь. День принес мне облегчение — температура падала. Я ослабел, но днем все же держался на ногах, лишь временами ложился и дремал. В силу контраста с ночью днем мне казалось, что всё почти хорошо. Третья ночь была полна кошмаров, но переносить ее было легче — я был измучен, и дремота часто переходила в сон. А на следующий день в камеру вошли два солдата и почти вынесли меня на руках из тюрьмы и на извозчике повезли в тюремную больницу арестантских рот.

Солдаты сидели по бокам и поддерживали меня. Хотелось рассказать им о нашей борьбе, но язык мне не повиновался. Меня внесли на руках во второй этаж больницы, и там врач дал выпить кружку теплого молока. Он запретил мне есть, предупредил, что еда может стать опасной для истощенного организма.

Врач ушел. Уголовные сказали мне, что меня вызывают к окну. Я увидел молодую девушку, гулявшую по тюремному двору. Присев на землю, она быстро замахала носовым платком. Я не был знаком с азбукой знаков и ничего не понял; на помощь мне пришел один уголовный, сделавшийся «переводчиком». Он знаками же сообщил о случившемся со мной, а когда меня спросили, чего мне прислать, я попросил чаю и сахару. В обед мне снова принесли кружку молока, но оно показалось мне отвратительным, я отдал его уголовным, что делал и позже во время пребывания в больнице. Почти каждый день больным арестантам приносили подаяние, особенно часто крендели. Врач Доморацкий беспокоился за меня и особенно предупреждал против кренделей. Успокаивая его, я сказал, что мне хочется только пить, а если захочется и есть, то я не ребенок, чтобы бессмысленно терять жизнь. Врач прописал мне четверть фунта черствого белого хлеба и молоко, которое я так и не стал пить — в нем

был какой-то неприятный металлический привкус. Я наслаждался чаем с сахаром вприкуску и удовлетворялся кусочком белого хлеба.

Дней через семь-десять меня выпустили из больницы. В тюрьму конвоировал меня только один солдат. Шли мы с ним по Полевой улице. Я расспросил его, откуда он. Солдат оказался крестьянином из села Подновья. Я сообщил ему, что сам родом из слободы Кошелёвки, которая отделяется от Подновья только селом Печёры, что младший брат мой служит в солдатах, а потом всю дорогу рассказывал, за что борются рабочие-социалисты. Беседа заинтересовала нас обоих. Он задавал мне вопросы, я разъяснял. Так незаметно дошли мы до тюрьмы.

Товарищи сообщили мне, что голодовка оказала свое действие и свидания разрешены. Через несколько дней вызвали на свидание и меня. Приятность этого свидания для меня усугублялась тем, что оно было взято с бою. Пришла мать с сестрами. В качестве двоюродной сестры пришла и Жозефина Эдуардовна Гашер. Она была одета в ватную кофту и большую шаль и своим круглым румяным лицом походила на деревенскую женщину. С одинаковым удовольствием расцеловался я со всеми подряд и в первый раз в жизни с женщиной не родственницей. Все были рады, что болезнь и голодовка без питья прошли для меня благополучно.

СУД И ПРИГОВОР

Мы стали готовиться к суду. Свою роль на суде я считал значительной и был очень разочарован, когда узнал, что мое дело не выделено, что меня будут судить не за публичный призыв к ниспровержению существующего порядка, а за дерзостное порицание этого порядка — наравне с другими участниками демонстрации. Это связывало мне руки и разрушало все мои планы.

Из Москвы приехали присяжные поверенные — Муравьев, Тесленко, Малянтович и Маклаков, приглашенные Алексеем Максимовичем Горьким. Часть из нас была вызвана в деревянное здание тюрьмы.

Адвокаты разъяснили нам, что председатель суда лишит нас слова, как только мы позволим себе резкие выражения против власти или суда. Я решил написать проект речи и прочесть ее защитникам. На другой день присяжный поверенный Маклаков вызвал меня и долго со мной беседовал. Он сказал мне, что точной статьи закона, которая карала бы за несение во время демонстрации знамени с лозунгом «Долой самодержавие!», не существует. Есть статья, карающая за публичный призыв к покушению на царя и к ниспровержению существующего порядка смертной казнью через повешение, но эта статья ко мне не подходит, поэтому ко мне применили 252-ю статью, тоже не подходящую к моему преступлению. Маклаков говорил, что он на суде будет доказывать, что ко мне должна быть применена статья, единственным наказанием по которой является смертная казнь через повешение. А так как этого быть не может, то судьи должны будут признать неприменимость ко мне этой статьи и, возможно, оправдать.

Сидевший вместе с нами в тюрьме студент Розенберг написал для меня речь, но это был ученый трактат, совершенно непонятный для рабочей массы. Я написал собственный проект речи, который, как мне казалось, был более понятен массе.

Я недооценивал значение судебного процесса; мне казалось, что моя работа в прошлом важнее выступления на суде, к которому я привлечен всего только за дерзостное порицание существующего порядка. Совсем другое дело было бы, если бы меня судили за публичный призыв к ниспровержению существующего строя. Понятное дело, что на суде мы могли сказать какие угодно «страшные» слова, но тогда дело ограничилось бы одними возгласами и наших речей нельзя было бы использовать для широкой агитации. Исключительное внимание со стороны знаменитых адвокатов меня нисколько не обманывало. Я крепко помнил «урок» студента Кузнецова, относил защитников и судей к одной социальной группе и знал, что защитники с легкостью могут превратиться в наших судей, в прокуроров. Я не забыл, что мы, рабочие, являемся для них средством

для осуществления их собствеиных целей. Оии хотели, чтобы мы, рабочие, «подсадили их на первый сук каштана», а мы хотели революции.

Проект моей речи был передан А. М. Горькому, и он ее одобрил. Одобреииый проект моей речи послужил примером и образцом для речей других товарищей.

Я иастаивал на том, чтобы все товарищи, против которых нет веских улик, на суде защищались, так как бессмысленно было увеличивать количество жертв и ослаблять этим иашу организацию. Особеиио трудно было уговорить Михаила Быкова.

Студеиты и учащиеся, сидевшие в тюрьме, были очень милые люди, но оии вышли ие из рабочего класса, и революциоиность большииства из них я считал детской болезнью, так сказать, «студенческой корью». Самым юиым был сыи еврейского раввииа Лубоцкий. Он принадлежал к самой угнетенной в царской России нации и уже в силу этого был нам, рабочим, более близок. Он был скромен и умен, его увлечение революцией имело глубокие корни, было серьезным, несмотря иа юный возраст. Сережа Моисеев был сыном дворяиина; его старший брат, кажется, был офицером, а сам он проявлял архиреволюционность и старался меня заразить этой архиреволюциоиностью. Я отиосился к этому несколько юмористически и, поддразнивая, высказывал в ответ на его поучения архиеревюлюционные мнеиия.

Проектом моей речи Сережа Моисеев остался особеиио недоволеи. Этот проект казался ему нереволюциониым, примиреическим. Особенно иапал ои на меня за слова: «хотел обратить внимаиие правительства и общества на невыносимое положение рабочих». В нем было еще много детского. Самое его обращеиие к солдатам через решетку окиа гауптвахты: «Солдаты! Нас заставляют работать по 12 часов в сутки, а мы хотим работать по 8 часов» — казалось мне комическим. Но в общем Сережа Моисеев был милый мальчик, живой и веселый, как котенок. Я его очеиь любил, хотя к нам, рабочим, ои и отиосился несколько свысока. Из учащихся сложившимися революциоиерами-марксистами

казались мне студенты Сысин и Дертев. Но Лубоцкий* и даже Сережа Моисеев и другие доказали своей жизнью, что их увлечение делом мирового пролетариата не было временным, и у меня осталось ко всем им горячее товарищеское чувство, как к живым, так и к ушедшим из жизни.

Незадолго до суда меня перевели в камеру к сормовичам, и я своими глазами убедился, что большая часть активных товарищей в тюрьму не попала. От арестованных я скрыл все происшедшее со мной после ареста, чтобы не подорвать их бодрого настроения, да и стыдно было за проявленную мной слабость во время побоев. Мы обсуждали свою тактику на предстоящем суде и пришли к выводу, что нам следует принять во внимание советы адвокатов и избегать резких выпадов против суда и правительства, чтобы иметь возможность произнести хотя короткую речь, которую можно было бы использовать на воле для агитации. Кроме того, я не хотел показывать лица нашей организации, ибо главной задачей считал сохранение ее сил...

Среди нас был кузнец Ляпин, который не участвовал в нашей организации, но тем не менее был арестован. Ему мы рекомендовали не выступать, так как были уверены, что его оправдают. Но судьи и его обвинили и послали в пожизненную ссылку, в то же время выпустив из своих рук ценных товарищей, которые и проявили себя впоследствии.

Я никогда не судился, никогда не видел суда и не имел представления о судьях. Поэтому заявление адвоката Маклакова, что судьи не хотят меня вешать и применили не ту статью, было для меня очень ценным. Я делал вывод, что у судей или имеется что-то

---

* Владимир Михайлович Лубоцкий (партийный псевдоним Загорский) вырос в крупного работника партии. По суду 1902 года он был сослан на вечное поселение в Енисейскую губернию, в 1904 году бежал оттуда и стал профессиональным партийным работником. После Октябрьской революции В. М. Загорский сначала работал в советском полпредстве в Германии, затем — в МК партии. Погиб в 1919 году от взрыва бомбы, брошенной левыми эсерами в здание МК партии.

похожее на зачатки человеческой совести, на тень сочувствия, или они трусы и боятся общественного мнения.

Самым простым и легким было для меня выступить открыто, прямо, резко-враждебно. Но мне казалось, что такое выступление ухудшит участь привлеченных к суду товарищей, а кроме того, я был уверен, что говорить мне не дадут и выведут из зала суда. Я считал необходимым показать в своей речи самую суть борьбы пролетариата с капитализмом, хотя бы и в самых мягких формах, чтобы с первых же слов мне не заткнули рта.

Вызвал меня еще нижегородский адвокат, и когда я ознакомил его с проектом речи, он остался доволен. Во время этой беседы мне бросилось в глаза, что адвокаты нашими голосами хотят сказать в суде то, о чем сами решаются говорить только в интимном кругу, за чайным столом.

Судили первыми нас, сормовичей, в конце октября — начале ноября. Ночью на трамвае отвезли в суд и поместили в очень хорошей комнате с железными кроватями. Утром принесли чай с белым хлебом, а на обед дали такие вкусные мясные щи, каких я во всю предшествующую жизнь не пробовал. Мы были под конвоем солдат.

Приходил помощник прокурора, который был очень мил и любезен и спрашивал нас, довольны ли мы пищей и помещением. Я ответил, что пища и комната очень хороши, но что для меня свобода дороже, и если придется пробыть в этой комнате долго, то я повешусь на шнурке вентилятора. Он явно ожидал благодарности и был так обескуражен моим ответом, что сейчас же ушел от нас.

На другой день нас вывели из комнаты, и сейчас же за дверью мы очутились на скамье подсудимых, обнесенной решеткой. Бросились в глаза дорогие, залитые золотом мундиры и чужие, враждебные, налитые кровью толстые лица и шеи судей. Я не имел представления о процедуре суда и думал, что могу сейчас же рассказать о причинах, побудивших меня выйти на демонстрацию со знаменем, призывающим к ниспро-

вержению самодержавия. Суд, как я и ожидал, начал с меня. Председатель суда Попов задавал мне вопросы, но я на эти вопросы отвечать не хотел, а сразу же начал произносить свою речь. Председатель прерывал меня, требуя, чтобы я отвечал только на вопросы, и этим сбивал меня. Я злился, начинал свою речь сначала; он же говорил, что это к делу не относится, надо лишь отвечать на вопросы и отвечать коротко. Я не знал, что мне дадут последнее слово, и настаивал на том, чтобы мне не мешали.

Я говорил суду: я хочу рассказать вам о причинах, заставивших меня пойти на демонстрацию, и прошу вас разрешить мне это. Вы как судьи заинтересованы в том, чтобы знать об этих причинах.

На помощь мне пришел защитник Маклаков и стал просить, чтобы суд разрешил мне рассказать всю правду. Председатель сдался, но и после этого два раза прерывал меня своими «это к делу не относится», но я все же произнес свою речь до конца.

Обычная процедура была сломана. Я овладел вниманием суда и всех присутствующих. Я сам волновался от своего рассказа. Сказалось перенапряжение последних недель. Мне даже стало жаль себя, жаль сотен тысяч таких же, как я, и из моих глаз неудержимо полились слезы. Временами мое горло сжималось, и я на момент умолкал, чтобы сейчас же с новой силой и страстью говорить о той правде, от которой судьи хотели отмахнуться. Худой и нервный защитник Маклаков плакал. Я видел, как нервничает председатель суда Попов. И когда я рассказал о безотрадной жизни стариков рабочих, о жизни своего деда, подвергавшегося глумлению со стороны своих же собственных детей, он уже не в силах был сдерживать себя, его нижняя губа начала прыгать.

Говорил я ровно час. Весь сияющий ласковой улыбкой, подошел вплотную ко мне член суда Милютин. Между нами была только решетка. Его голова была на уровне моей груди. Он так ласково на меня смотрел, что можно было думать, будто ему хочется со мной целоваться. Он стал меня спрашивать, я ему отвечал.

— Кричали ли вы «Долой самодержавие!»?

— Не кричал. Но я сделал гораздо больше. Я написал на своем знамени лозунг «Долой самодержавие!» и нес так, чтобы все рабочие могли читать. И они действительно все читали его!

— Как вы относитесь к царю?

— Если русский царь не будет иметь никакой власти, — ответил я, — а вся власть будет принадлежать выборным от всего народа, то я и против русского царя ничего иметь не буду.

Член суда Милютин отошел от меня на свое место все такой же сияющий.

После меня был вызван Миша Самылин. Председатель суда Попов дал ему возможность произнести короткую речь беспрепятственно, так же как и Алексею Быкову и Наумову. Начался допрос свидетелей. Обвинение было построено на показаниях жандармов, полиции и сыщиков. Последние свои показания неизменно начинали словами: «Находясь с наблюдательной целью на углу...» и т. д.

После допроса свидетелей выступил товарищ прокурора Курлов с длинной речью. В той части речи, которая касалась меня, он заявил, что «не только рабочим, но и нам живется трудно, но с этим приходится мириться». Для меня это было самое неожиданное, но и самое интересное место речи Курлова. Было очень смешно, что при царизме живется трудно и товарищам прокуроров.

После Курлова выступил присяжный поверенный Маклаков. Он защищал Быкова и Самылина, доказывая суду, что их деяния законом не предусмотрены, а потом перешел к разбору обвинения, предъявленного мне. Он указал суду, что точной статьи закона, карающей за несение на демонстрации знамени с надписью «Долой самодержавие!», не существует и что самой подходящей является статья о публичном призыве к ниспровержению существующего порядка, единственным наказанием по которой является смертная казнь через повешение.

— Правильнее применить статью, по которой мой подзащитный подсудимый Заломов должен быть по-

вешен. Однако, — сказал он, — и эта статья, являясь самой подходящей, все же не является точной, — и сослался на разъяснение сената по делу Боголюбова.

Защитник Муравьев сказал по поводу лично меня очень мало и главным образом упрекал товарища прокурора Курлова в том, что он старался высмеять и подвергнуть сомнению искренность моей речи, в которой я заявил, что решил отдать свою жизнь за рабочий класс.

— Меня удивляет, — сказал, обращаясь к суду, Муравьев, — как у обвинителя не содрогнулось сердце от исповеди подсудимого Заломова. Не верить, что Заломов пошел на демонстрацию ради блага рабочих, равносильно отрицанию евангельского завета «за други положить свою жизнь».

Курлов покраснел.

Нам было предоставлено последнее слово. Для меня это было полной неожиданностью, и я, а вслед за мной и другие от последнего слова отказались. Суд удалился на совещание, после которого огласил приговор — пожизненная ссылка в Восточную Сибирь с лишением всех прав состояния. В список приговоренных попали члены сормовской организации РСДРП: П. Заломов, М. Самылин, А. Быков, П. Дружкин, Фролов и беспартийный кузнец Ляпин. Последний, услышав свое имя, издал нечленораздельный выкрик и бросился к решетке. Его сейчас же окружили защитники, начали успокаивать, и он дал увести себя в комнату подсудимых. Он страшно возмущался своим осуждением и жалел, что раньше не наговорил судьям что следует.

Я ожидал, что Миша Самылин скажет на суде длинную речь, а поэтому спросил его: «Что же ты, Миша, так мало сказал?» Он мне ответил: «Ты все сказал, и мне уже нечего говорить не осталось». Очень разнервничался Петр Дружкин. Михаил Быков плакал о том, что его не осудили вместе с нами, и сильно жалел, что подчинился нам и не выступил с речью против самодержавия, суда и судей. Я доказал ему, что интересы нашей борьбы требуют сохранения нашей организации, а не поголовной отправки ее членов на катор-

гу и ссылку. Он успокоился, и мы простились с ним навсегда. Его состояние было мне понятно, так как при массовых арестах 1896 года я сам пережил нечто подобное.

В целом все товарищи приняли приговор твердо, без всякого малодушия, а Ляпин только жалел, что не был членом партии до тюрьмы, что не выступил на суде с речью. Он с ненавистью повторял: «Я бы им такое сказал! Такое сказал!» В сущности, приговор был смехотворный и в особенности по отношению ко мне. Даже по 252-й статье судьи могли дать шесть лет каторги, а дали пожизненную ссылку с лишением всех прав состояния.

После суда нас ночью отправили обратно в тюрьму.

Вскоре я получил с воли записку с просьбой возможно скорее написать и прислать свою речь, произнесенную на суде. Моя речь не совпадала во всех деталях с первоначальным проектом, так как, пользуясь слабостью судьи, я придал ей более определенный тон, но она была длинна, воспроизводить ее всю было бы трудно, и, посоветовавшись с Мишей Самылиным, я написал только краткое содержание речи, вполне уверенный, что проект этой речи находится в руках товарищей и они используют и то и другое. Миша Самылин и Фролов сказали, прочтя написанное мною, что все самое главное и важное из сказанного мною на суде здесь имеется. Тогда я передал краткое содержание своей речи на волю.

После нас судили учащуюся молодежь. Более юные из них, Моисеев и Лубоцкий, на суд прийти отказались, солдаты принесли их из тюрьмы на руках.

После суда я подводил итоги сормовской демонстрации. Только пять членов партии и один беспартийный пошли в пожизненную ссылку в Сибирь. Остальные были на свободе. Жертва эта казалась мне ничтожной, и я торжествовал. Но все же торжество это было отравлено, червь глодал мой мозг. Я вспомнил, какое впечатление произвели на меня горькие, но мужественные слова декабриста Муравьева-Апостола, когда оборвалась веревка, на которой он был повешен: «Бедная Россия, и повесить-то не умеют», — сказал

он. Я вспоминал народовольцев, казнивших царя и заплативших за это своей жизнью, и жалел в ту минуту уже не о праздничной смерти на солдатских штыках, а о позорной смерти на виселице.

Мне в ту пору казалось, что один этот смертный приговор дал бы для пролетарской революции больше, чем моя прошедшая и последующая жизнь. Товарищи рабочие не забыли бы, не простили бы моей смерти, как я сам не мог забыть и простить смерти всех героически погибших в борьбе с угнетателями трудового народа. Я мечтал, как и каждый революционер-рабочий, сделать для революции максимально, и вот единственный случай, думал я, прошел мимо меня, чтобы не повториться никогда. Стоит ли говорить, что эти суждения были ошибочны, но понял я это уже потом, в далекой и суровой ссылке.

С учащейся молодежью, которая была осуждена за нижегородскую демонстрацию 5 мая, встретились мы уже в поезде, увозившем нас в московскую Бутырскую пересыльную тюрьму. Ехали весело, с песнями, как победители.



А. К. Заломова

РАССКАЗ О СВОЕЙ ЖИЗНИ

Родилась я в 1849 году. Жили мы в слободке Кошелёвка, под Нижиим Новгородом, в маленькой дряхлой избушке. Жили, как и тысячи других, очень бедно.

Бывало сваришь черной каши, подашь на стол, а дети всё съедят и не сыты. Жалко их станет — заплачешь. Стала я по вечерам шить, но денег все равно не хватало. Дед ушел просить милостыню, сыновья чуть ли не с детского возраста пошли на завод Курбатова, где работали с утра до ночи.

Всю жизнь, начиная с детства, ничему я так не завидовала, как возможности учиться, получить образование.

Но вместо этого меня маленькой девочкой посадили плести кружева. После долгих и настойчивых просьб мать показала мне буквы и слоги, с трудом на-

училась я читать. В доме книг не было. Все у нас были неграмотные, читать никто не умел. Редко попадался мне в руки печатный листок — только иногда лавочник завернет мыло или свечку в обрывок книги. Жадно собирала я эти жалкие обрывки, перечитывала по складам десятки раз.

Это и были мои учебники...

В те далекие времена бывала я не раз у Кашириных. Как сейчас помню Алексея Максимовича Горького в детстве. Придешь к ним, а он сидит, книжку читает. Шустрый такой, сразу видела: умный человек растет.

Алексея Максимовича я знаю со стороны его матери. Она постарше меня была.

Каширин, дед Горького, был крестным отцом моей матери, а моя мать была крестной матери Горького, Варвары Васильевны.

Выходит, значит, что и я прихожусь отдаленной родственницей великому писателю *.

Повесть его «Мать» прочла еще в годы первой империалистической войны, читала не раз. Спрашивают меня: похоже написал писатель? Не знаю, таких матерей, как я, тогда много было, а вот сына действительно описал как живого. Все, кто его помнит, все знали его таким.

Повесть Горького — правильная повесть. Она рассказывает, как должны поступать матери, которые за дело своих детей стоят, за правду, за трудящийся народ. Как живой встает в моей памяти Горький — добрый такой, отзывчивый! Мой сын Петр хорошо с ним знаком.

Пятнадцати лет Петр стал заниматься политикой. А как постарше стал, поступил в кружок Невзоровых. Когда Петра арестовали и сослали, Горький помогал ему и его товарищам деньгами. Он посылал в ссылку

* Анна Кирилловна не ошибается. Изучая документы, касающиеся рода Кашириных (предков А. М. Горького по материнской линии), Н. А. Забурдаев (Литературный музей А. М. Горького в городе Горьком) установил, что мать Анны Кирилловны, Александрия Яковлевна Гаврюшова, приходится троюродной сестрой деду А. М. Горького, Василию Васильевичу Каширину.

Петру по пятнадцати рублей в месяц, а когда тот сидел в тюрьме в Нижнем, Горький посылал ему обед в камеру. Слыхала я, но сама хорошо не помню, что Горький елку делал для бедных детей. Ходила на нее и моя Варвара. Перед елкой Горький со студентами ходил по бедным квартирам и собирал детей.

Жил он тогда на Канатной улице.

Тяжела, безрадостна была жизнь рабочих людей!

Мой муж, Андрей Михайлович Заломов, с четырнадцати лет работал на машиностроительном заводе Курбатова. А какая работа была у Курбатова, помнят только старики.

Работать приходилось с пяти часов утра до восьми часов вечера. Андрей отдал всю свою жизнь кровососу Курбатову.

Работал он меднолитейщиком во вредном цехе, дышал ядовитыми газами. Придет бывало домой — лицом темен, глаза горят!

— Дай, — говорит, — мать, водки!

А где я ему водку достану, когда на столе куска хлеба нет?

Так и шла его жизнь. Шесть дней на заводе сплошь, а потом — кабак, начиная с субботы.

Умер он тридцати девяти лет от роду, отравившись газами. Я не могла плакать. Горя в моей жизни было так много, что оно иссушило слезы. Кто-то сложил Андрюше на груди руки крестом, зажег свечи. Я ничего не помнила. Семь сирот жалобно глядели на меня.

С этого дня я одна стала кормить всю семью. Шила, стирала, ходила в поденщину, работала с утра до темной ночи, а дети всё были голодны, всё были не сыты... Дед мужа, Андрей Иванович Заломов, был крепостным крестьянином. Доведенный побоями до отчаяния, он бежал от своего помещика. Явившись в воинское присутствие, он сам попросился в солдаты. А в то время уйти в солдаты означало все равно, что уйти на пожизненную каторгу. Тридцать лет он «покорял» Кавказ. Тридцать лет ходил в струнку, получал затрещины и зуботычины. Наконец кончилась каторга, стариком инвалидом вернулся он в родные места и поступил ночным сторожем на завод Курбатова.

Глядя на его жизнь, думала я: а чем наша жизнь лучше? Еще хуже, еще каторжнее, еще злее! Такая уж наша судьба заломовская была, что ее горше?

После смерти мужа выдавал мне заводчик пенсию, но через два года на третий решил прекратить: дескать, у тебя, бабка, сыновья-кормильцы подросли! А этим сыновьям только что второй десяток пошел!

Жалко мне было отдавать Петра на завод, где погиб его отец, но пришлось. И вот его, пятнадцатилетнего мальчика, запрягли в ночную и денную работу. Он уходил на завод рано утром и приходил поздно ночью. Работа на заводе так тяжело на нем отразилась, что он руки хотел даже на себя наложить. Но что я могла поделать? И Петр меня понимал. Он молча гладил меня по голове в те минуты, когда я начинала плакать, и говорил: «Подожди, стану больше зарабатывать — лучше заживем».

Потом Петр стал работать слесарем на Сормовском заводе. Как узнала я, что он революционером стал, не отговаривала — знала, что такого человека не отговоришь. Видела я — он весь горит, всю жизнь свою кладет за рабочее дело. Втайне думала так: «За плохое дело мой Петя не возьмется, а раз взялся — надо и мне ему помочь». Помню, попросилась я везти прокламации в Иваново-Вознесенск. «Если поймают, — учил меня сын, — говори, что я послал». — «Нет, — думаю, — меня не поймаешь! Прикорну на чемоданчике — никому и невдомек, что у тетки в укладке!» Сижу на вокзале, притворяюсь, что дремлю, а у самой сердце стучит. Приходит жандарм. Остановился. Смотрит. «Ну пропало дело, — думаю, — поймали!» Набралась храбрости да и спрашиваю его: «Скоро поезд?» А он фыркнул в бородищу и отошел. Нет у него собачьего нюха, не учуял! А в Иванове ждали этот чемодан с нетерпением и встретили меня как родную.

А то из Печёр в Сормово в ведре листовки возила. Положила их на донышко, капустой кислой прикрыла сверху, коромысло на плечо и пошла. В поезде меня толкают, кричат: «Куда, баба, прешься с капустой? Что, капусты в Сормове, что ли, нет?»

А я отвечаю: «Такой нет, это у меня особая».

Запомнился мне 1902 год. Перед Первым мая надо было привезти из города в Сормово флаги. Дело было трудное, жандармы обыскивали чуть ли не каждого едущего. Петр попросил меня провезти флаги.

Поехала я. Прихожу к члену Нижегородского комитета *.

— Вот, Кирилловна, надобно это в Сормово свезти.

Положил флаги и отвернулся, занялся своим делом. Подумала-подумала я и решила их вокруг себя обмотать. Обмотала, застегнулась. Вроде хорошо, только поперек себя шире стала. Говорю:

— До свиданья, товарищ!

Он повернулся, видит, что в руках у меня ничего нет, и спрашивает:

— А где же знамена-то?

Сказала. Похвалил он меня за находчивость. Поехала.

В поезде народ на меня смотрит, шепчет: «Ишь какая толстая старуха прется!»

А я ни гу-гу! Довезла благополучно. На другой день одно из знамен нес впереди всех мой сын Петр.

Долго готовились он и его товарищи к демонстрации. Народу собрали, почитай, тысяч шесть — всю улицу запрудили. Идут, песни поют, а сами по сторонам поглядывают, нет ли где жандармов. Идут они по большой сормовской дороге, а народу все гуще, все гуще — царя ненавидели все, ну и сочувствуют, значит. Тоже песни подпевать начинают.

Рядом с Петром нес второе знамя Алеша Баранов. Вдруг солдаты откуда ни возьмись. Началась стрельба, выбили из рук Пети знамя, стали толпу избивать нагайками, тяжелыми сапожищами городовые Петю топтали. Потерял он сознание, унесли ясного сокола в острог. Долго он кровью харкал.

На следующий день соседки мне, темные и неразумные, говорят: «Ты слышала, что разбойника с фла-

* Анна Кирилловна говорит об И. П. Ладыжникове.

гом взяли на штыки? Из него кишки так и выпали». «Нет, — говорю, — неправда! Кишки из него не выпали, а человек он хороший и не разбойник».

«А кто такой есть?» — спрашивают. А я не вытерпела да как скажу: «Не разбойник он, а мой сын Петр». Тут все они от меня и разбежались, как от чумной. Не понимали, считали Петра антихристом.

Посадили, значит, Петра в тюрьму. Товарищей его многих арестовали, обыск у него на квартире, конечно, произвели. Ничего не нашли. Я волнуюсь, все в тюрьму хожу, о сыне справляюсь. Судили его в окружном суде, а потом в острог посадили и никому свидания не дали. Он требовал, чтобы разрешили свидания, и решил объявить голодовку *. Товарищи его только не ели, а мой Петр и не пил. Очень упрям был. Так семь дней ничего в рот и не взял. Замертво его отвезли в больницу.

Прихожу я раз к острогу, а сторож мне и говорит: «Зря ходишь, в больнице твой-то! Вряд ли живым застанешь».

Стала я его просить слезно, чтобы пустил мать с сыном свидеться. «Перед смертью, — говорю, — пусти повидаться! Очи закрыть рукой материнской!» Долго по всяким начальникам и сторожам ходила, все просила о свидании. Наконец разрешили мне. Увидела Петра — обрадовалась. Изменился он сильно. Бородой оброс, как старик стал, похудел, побледнел.

Узнала я тогда, что ему на суде приписывают.

После суда отправили его в ссылку в Сибирь, в Енисейскую губернию.

Много страдал, много мучился мой сын Петр в борьбе с царскими опричниками. Но дело его победило. Народ трудовой сбросил цепи царя, попов и капиталистов...

Живу я сейчас в Горьком у своей дочки. Живу в новом доме, пенсию получаю. Радуюсь тому счастью, которое получил народ от революции...

---

* События в рассказе Анны Кирилловны перемещены: голодовка предшествовала суду.

Я горжусь тем, что работа моих сыновей и дочерей не прошла даром, что они увидели исполненными все надежды и мечты свои.

Смотрю я вокруг и не верю глазам. Как все изменилось! Как хорошо на свете жить! И умирать не хочется. Дожила я до девяноста лет, сорок три человека потомства вокруг меня — сыновья, дочери, внуки, правнуки, а в могилу не хочу от такой радостной жизни.

Вот возьму и до ста лет доживу! Слепая, глухая, а доживу, хочу посмотреть, какая жизнь тогда у нас будет.

Сижу, чай пью сейчас, разговоры веду. Дети и внуки за столом сидят.

Кругом я в своем народе... Куда ни взгляну, в какой город ни поеду — везде у меня то внуки, то правнуки. И народ какой — здоровяки, все работают, все учатся, все жизнь новую строить помогают. Бо́льшая часть их — стахановцы, коммунисты, комсомольцы, пионеры.

Детей у меня семь человек было. Внуков теперь у меня восемнадцать, а правнуков, должно быть, дюжины полторы. Скоро, говорят, еще самый маленький родится правнучек — сорок четвертый, значит, по счету будет в нашей семье.

Разве не счастливая я старуха, что дожила до таких времен, когда у нас в стране все трудящиеся равны стали, когда нет такого унизительного презрения к рабочему человеку, которое было раньше?

Жизнь становится день ото дня краше и краше... Могла ли я мечтать стать профессором, а вот внучка Леля — дочь Петра — лекции по истории партии на рабфаке читает. Могла ли я думать о том, чтобы автомобиль свой завести? А вот внук мой, Петя, сын Оли, — большой человек на автозаводе имени Молотова, конвейером заведует; за границу его посылали учиться, персональную машину ему правительство подарило. Внучок-то меня не забывает, катает иногда в ней по городу Горькому.

Сказывают, что другой внучок у меня на Камчатке радиостанцией заправляет. Далеко это место, да все

обо мне, старухе, вспоминает: нет-нет, телеграмму пришлет.

Варин сынок в Красной Армии служит. А другой — в моряках, в Ледовитое море и в разные страны на пароходе плавает.

Так-то жизнь поворачивается! Солнышком меня, старуху, пригревает.

Дорогие товарищи, вам, молодым и сильным, достанется и досталось уже то счастье, за которое боролись тысячи революционеров, гибли в ссылках, мерли в острогах, падали под пулями жандармов.

Берегите советскую власть! Крепко стойте за рабочее дело. И сегодня я с гордостью матери рабочего скажу: то красное знамя, которое нес мой сын Петр Заломов, с древка не сорвано: под знаменем этим мы шли от победы к победе и, я верю твердо, придем к полному торжеству коммунизма!



В. А. Заломова

НАША СЕМЬЯ

НАЧАЛО ЖИЗНИ

Мать моя, Анна Кирилловна Заломова, много раз рассказывала мне о своем детстве, юности и замужестве.

Родилась она в 1849 году в семье сапожника Гаврюшова. Совсем еще маленькую ее отправили в город Балахну к тетке. Там она прожила до девяти лет.

У нее было желание научиться читать. Но школ бесплатных в то время не было, а платить за ученье сапожнику Гаврюшову было не по силам.

Мать научила ее читать. В остальном помог фельдшер Максимыч, новый жилец, который поселился в их доме. Маме было тогда лет тринадцать-четырнадцать. Максимыч принадлежал к народникам и, как рассказывала мать, имел на нее большое влияние. Он-то и привил ей любовь к чтению.

Читала она потихоньку, плетя кружево.

Раза два ей удавалось побывать даже в оперном театре через знакомого буфетчика. На этом и закончилось ее знакомство с оперой — бабушка больше не пустила ее. «Нечего, матушка, беса-то тешить», — сказала она.

Дед мой по отцу — Заломов, как и Гаврюшов, дед по матери, был сапожником и работал на хозяина, получая гроши. Семья прибывала, а заработок оставался прежним. Все дети рано начали работать.

Лишь на двадцать первом году жизни один из его сыновей, мой отец Андрей Заломов, добился высокого заработка. Работая на заводе Курбатова, он стал получать рубль в день. Этот рубль сыграл в замужестве матери решающую роль. Ее родители решили, что лучшего жениха, чем Андрей Заломов, и ждать нечего.

Отец в то время жил в слободе Кошелёвке около Печёрского монастыря, в семье своего отца, в старой покривившейся хатенке. Семья состояла из восьми человек. Мать стала девятым членом семьи. По своему развитию она совсем не подходила к семейству Заломовых. Там про нее насмешливо говорили: «Наша сноха — образованная». Прожила она вместе с ними семь лет, всего насмотрелась и все испытала.

Однажды, перед самыми родами, ее послали в погреб за квасом. Все хозяйство Заломовых было неустроенным, и погреб в том числе. Вместо лестницы была поставлена кадка, а на кадке ящик. Мама стала спускаться, ящик перевернулся под ней, соскочил, и она всей тяжестью тела рухнула в кадку и завязла в ней. Долго ждали ее с квасом, наконец с руганью побежали к погребу:

— Что ты там провалилась, Анна?

— Вот именно провалилась, — сказала мама. — Позовите Андрея, я не могу встать.

Долго и весело все хохотали, и никто маму не пожалел — никому и в голову не пришло. Настолько грубы были нравы.

Когда вскоре после этого мама родила дочь Олю, третью по счету девочку, бабушка Елизавета, вообще-то человек добрый, начала ворчать: «Натаскает она

тебе, Андрей, полную хату девчонок, что станешь делать?» Отец обнделся. Бабушку насмешливо поддержали братья. Слово за слово — разругались, и началась драка. Дошло до того, что один из братьев отца несколько раз ударил его дверным засовом.

Отец после этого проболел три месяца. Поправившись, он забрал свою семью и переехал из Кошелёвки в верхнюю часть Нижнего, в домик маминой сестры. Домик этот стоял — стоит он и сейчас — у Старой Сенной площади, почти на самом конце так называемого Откоса — верхней набережной Волги. В этом домике у мамы родились все остальные дети — родился брат Петя, родилась в 1884 году и я.

По рассказам мамы, это было тяжелое для семьи время. Отец был болен, а я была уже седьмым ребенком. Вся семья жила в одной комнате, дети спали на полу. Часто отец, уходя на работу, с грустью смотрел на спящих детей и говорил маме: «Чувствую, Анна, не вырастить мне их».

Мне было два месяца, когда не стало отца. Он умер еще совсем молодым, отравившись газами в меднолитейном цехе; ему было всего тридцать девять лет. Тяжелая и вредная работа, двенадцатичасовой рабочий день свели его раньше времени в могилу.

Мать рассказывала мне, как много-много раз, прижав меня к груди, она обливала горькими слезами мою голову. Окружающие — и родные и соседи — говорили, жалея маму: «Хоть бы бог прибрал у тебя, Анна Кирилловна, маленькую!» Но мы, малыши, и не думали умирать. Мы не понимали всей тяжести горя, обрушившегося на нашу семью. Старшие дети относились к нам ласково. Часто они урывали от своего скудного пайка маленький кусочек сахару и подкладывали в чашку мне или сестренке Насте.

После смерти отца родные решили троих, самых маленьких, определить в приют. Но маме дали ничтожное пособие с завода, где работал отец (он проработал там двадцать пять лет), и она оставила всех детей при себе. Работала она, не разгибая спины, усадив за шитье трех старших сестер (братья были еще малы).

ВДОВИЙ ДОМ

Мне было около четырех лет, когда наша семья перебралась во Вдовий дом. Построил его нижегородский богач Бугров *. Туда принимали исключительно многодетных вдов. Маме с большим трудом удалось получить там помещение. Заведовал домом назначенный Бугровым смотритель Александр Осипович (фамилии его не помню). Он был полным хозяином в доме и наживался как хотел. Вдовам, которые не давали ему взятки при подаче прошения, он или отказывал совсем, или отводил самое плохое помещение. Мама взятки дать не могла, и потому наша семья получила комнату в полуподвальном помещении. Окна под потолком, пол асфальтовый. В комнате мрачно, зимой холодно.

Долго мы с сестренкой не могли привыкнуть к шуму, к гаму, к ругани и дракам вдов, к длинным полутемных коридорам. В доме помещалось двести пятьдесят семей. Ребят было больше тысячи человек. Здесь текла особая жизнь казенного благотворительного заведения. Маленькие дети в обязательном порядке собирались ежедневно, утром и вечером, в зал, где под руководством надзирательницы пели молитвы.

Мать я помню вечно склоненной над шитьем. Обычно мама подвигала сундук к окну, ставила на него стол и машину, и они с сестрой Сашей шили до позднего вечера.

Самая старшая сестра, Лиза, в это время уже не жила с нами, — она только что вышла замуж за столяра Григория Ивановича Гаринова. Третья сестра, Оля, в это время служила в няньках.

Питались мы плохо, лакомств не было. Помню, часто мы бродили с сестренкой Настей под окнами, подбирая корки от лимона и сыра. Оботрешь платьишком приставшую грязь и с наслаждением съешь. Одевались очень бедно. Саша часто плакала, ставя бесконечные заплаты на белье и одежду детей.

Брат Петя ходил в школу в старой отцовской шап-

* Об этом «удельном князе нижегородском» см. интереснейший очерк А. М. Горького «Н. А. Бугров».

ке, которая была ему велика, за что он и получил прозвище «дядя Сарай». Брат Шура и сестра Настя учились тут же в доме. Это избавляло маму от заботы об обуви и верхней одежде для них.

Правила внутреннего распорядка во всем стесняли жителей Вдовьего дома. Но самым тяжелым было запрещение жить здесь мальчикам старше четырнадцати лет.

И когда Пете исполнилось четырнадцать лет, маме пришлось поместить его к бабушке. Вскоре он поступил работать на тот же завод, где работал отец. И маме отказали в пособии на том основании, что у нее есть «работник». А этому «работнику» платили всего двадцать копеек в день!

Вдовий дом с его казенным распорядком все больше связывал маму. Подрастал другой брат, Шура, которого некуда было девать. Мы переехали в старый развалившийся домик отца в Кошелёвке.

В КОШЕЛЁВКЕ

Домик наш стоял около Печёрского монастыря, за чертой города. Мы снова стали жить на берегу Волги. Все дома лепились по крутой горе, утопая летом в зелени садов. Но всего больше привлекала нас, детей, Волга. Весной она подступала совсем близко, и мы проводили на реке целые дни.

Выбравшись из подвального этажа Вдовьего дома, мы, наконец, вздохнули свободно. Правда, помещение у нас было маленькое (не больше десяти метров). Я до сих пор удивляюсь, как мы, шесть человек, могли в нем разместиться...

Ко времени переезда в Кошелёвку вышла замуж и Оля. Брат Петя стал больше зарабатывать. Шура поступил в одну из расположенных тут же, в Кошелёвке, кустарных мастерских по выработке папиросных гильз. Нам стало легче жить. Но главное было не в том. Брат Петя сделался революционером, в нашу жизнь ворвалась свежая, бодрая струя.

Познакомившись с великим учением К. Маркса и Ф. Энгельса, Петя резко изменился. Прошла пора,

когда он драл нас без пощады за уши, был невнимателен и несправедлив. Теперь он уже никогда не бил нас за наши маленькие детские провинности. С мамой был ровен и вежлив. Воспитывая себя как борца за великое дело народное, он старался воспитать в том же направлении и нас, малышей. Слово его никогда не расходилось с делом.

Петя был нам скорее отцом, чем братом. Мы, младшие, любили его и верили ему безгранично. Часто он приносил интересные книги, которые мы с жадностью прочитывали. Книга прочно вошла в наш быт.

Однажды весной, на пасхальной неделе, брат взял меня в Николаевский театр *. Обратно шли по Откосу — верхней набережной Волги, месту постоянных прогулок нижегородцев. Одеты мы были бедно и резко выделялись среди нарядной буржуазной публики. Я почувствовала себя стесненной и просила брата итти соседней тихой улицей, где никого не было. Но Петя крепко подхватил меня под руку, шел, не уступая никому дороги, и, когда встречал негодующие взгляды, весело улыбался. Так он учил меня не стыдиться бедной одежды. Это были 1898—1899 годы.

К нам часто приходили люди, не похожие на рабочих (чаще других бывали В. А. Десницкий и В. А. Ванеев). Они садились с братом на скамеечке и тихо беседовали. Скоро мы с сестренкой Настей узнали, о чем шли беседы и что это за люди. Они приносили литературу, которую брат хранил в тайнике. Он передавал ее рабочим, читал сам и нам давал читать.

Весной 1896 года мы пережили большую тревогу за брата. Сидим однажды с мамой, вдруг подбегает к окну сосед и со злорадством говорит: «Арестовали твоего-то, достукался наконец». Но это было неверно. Брат скоро пришел — его вызвали только на допрос. Были арестованы его товарищи — Миша Самылин и братья Замошниковы.

После переезда в Кошелёвку мама, кроме шитья, стала работать повивальной бабкой. Она достала

---

* Новопостроенный тогда городской театр, сейчас Горьковский государственный театр драмы имени А. М. Горького.

у знакомой фельдшерицы полное акушерское руководство и самоучкой тщательно изучила его. Сначала она ходила на практику вместе с бабушкой, а потом принимала детей самостоятельно. Часто ночью к нам стучали в окно, и мама срочно уходила к роженице. Иногда ее не было дома по неделям.

Вся слободка знала маму, и женщины любили ее как родную. Она учила их культурному уходу за собой и ребенком, разъясняла пьяным мужьям, какой громадный вред они приносят, беспокоя неоправившуюся женщину. А ребята любили мать за ласку, за сказки.

Вся черная работа у рожениц тоже ложилась на ее плечи. И за все это мама получала гроши. Но никогда она не отказывала никому в своей помощи. В отсутствие мамы я вела все хозяйство. Топила русскую печь, варила братьям обед, вечно пачкалась в саже, и за это Петя прозвал меня «Золушкой».

Скоро сестра Настя пошла в услужение. Целый год она провела в няньках. А затем мама отдала ее в мастерскую. Не раз хозяйка мастерской била и таскала ее за волосы, но Настя ничего не рассказывала маме. Как-то раз мать зашла ее навестить и застала всю в слезах — хозяйка только что избила Настю. Мать немедленно забрала сестренку домой и устроила на другое место.

Меня мать тоже отдала в мастерскую. Мастерская была в подвальном этаже. Работали с шести часов утра до двенадцати часов ночи с небольшим перерывом. Кроме шитья, мы, ученицы, выполняли всю черную работу. После свободного житья дома, на берегу Волги, я почувствовала себя как на каторге; вдобавок у меня заболели глаза, и я вечерами совершенно не могла вдеть нитку в иголку.

Хозяйка обещала маме отпускать меня домой раз в месяц, но я проработала три месяца без отпуска. Я тосковала по дому, по Волге и каждый раз с нетерпением ждала заранее назначенного счастливого дня, когда я смогу уйти домой. Но вот он подходил, и всякий раз хозяйка холодно заявляла мне: «Сегодня не пойдешь домой, нужно кончать работу. Отпущу в следующее воскресенье».

Выслушав однажды такой ответ, я вышла за дверь, в свой угол, связала пожитки и самовольно отправилась домой. Была весна. Я вышла на Откос и долго любовалась Волгой.

Мама забранила меня за самовольный уход, а Петя решительно и твердо взял под свою защиту. Он убедил маму сходить со мной к глазному врачу и проверить, действительно ли у меня болят глаза, чем я объяснила свой самовольный уход из мастерской. Врач нашел у меня переутомление зрения, и я осталась временно дома.

Мне шел пятнадцатый год, а я уже не раз задумывалась над тем, как же мне быть. Снова идти в мастерскую не хотелось. На завод девочек не брали. Был только один выход: нужно было учиться. Я решила получить образование хоть за четыре класса, а потом поступить на акушерские курсы.

Как-то я поговорила с братом на эту тему. Он отнесся серьезно и обещал помочь. Через несколько дней он пришел вечером и весело сказал: «Ну, Варя, все устроил! Вот тебе адрес учительницы. Иди завтра к ней, она будет готовить тебя за четыре класса». Так начался новый период в моей жизни.

Моя учительница, Ольга Петровна Иваницкая, была молода, стройна, красива и произвела на меня чарующее впечатление. Мое ученье еще больше сблизило меня с братом. Брат относился с большим уважением к Иваницкой и охотно слушал мои рассказы о ней. Иваницкая была членом РСДРП.

Скоро Ольга Петровна передала меня Марии Вячеславовне Тихомировой. Она жила на Канатной улице, напротив дома Лемке, где жил в то время А. М. Горький. Часто, дожидаясь Марию Вячеславовну, я видела (окна были напротив) Алексея Максимовича, склоненного над работой. Нередко я встречала его на улице. Ольга Петровна и Мария Вячеславовна уговаривали меня не ограничиваться четырьмя классами, а поступить в гимназию, обещая помочь туда устроиться. Осенью Мария Вячеславовна передала меня другому товарищу. За год подготовки в гимназию меня учило пять учителей.

Под конец я снова попала к Ольге Петровне. В это время вернулась из-за границы ее старшая сестра Мария Петровна Иваницкая. Впоследствии мне не раз приходилось с ней сталкиваться.

На незаметную девочку-подростка, какой я была, мало кто обращал внимание, и брат скоро приспособил меня для выполнения небольших партийных поручений, что я делала с величайшей готовностью. Выполняя эти поручения, я познакомилась со многими его товарищами, узнала адреса многих членов организации. Особенно любила я бывать у Ольги Ивановны Чачиной. Она заведовала библиотекой во Всесословном клубе. Я часто заходила к ней туда и просиживала среди книг до закрытия библиотеки. В 1900 году я выдержала экзамен и поступила в четвертый класс Мариинской гимназии.

Первый раз в жизни я надела шляпу и калоши. Когда я шла своей слободкой, мальчики кидали в меня камнями и грязью, а взрослые с насмешкой провожали меня: «Ну, нынче и нищие в барышни полезли!» Я была первой гимназисткой в нашей Кошелёвке, за мной потянулись к учебе и другие.

НА ПОРОГЕ БОЛЬШИХ СОБЫТИЙ

К 1900 — 1901 годам все члены нашей семьи участвовали в революционном движении. Мужья трех моих сестер были членами партии. Все они работали на разных заводах, и через них социал-демократическая организация держала связь с рабочими. На квартире моей сестры Александры Андреевны и ее мужа А. Д. Павлова * — жили они в Нижнем, на Телячьей улице — происходили большие собрания, на которых присутствовали все видные члены нижегородской и сормовской организаций.

У Александры был склад нелегальной литературы. Она часто получала ее на вокзале упакованной в рогожу, взваливала на саночки и везла посередине ули-

---

* Не смешивать с семьей сормовича Д. А. Павлова (Мити Павлова), — это другие Павловы.

цы. По внешнему виду она совсем не походила иа революциоиерку. Я часто заходила к сестре Саше, брала литературу и относила ее в Сормово и Печёры. В Сормове жили сестра Лиза и ее муж Григорий Иваиович Гаринов *, активный участник сормовской организации РСДРП, работавший в Сормове уже с 1897 года.

Гаринов отдавал много сил на отвоевание рабочей кооперативиой лавки из рук заводской адмииистрации. Эта борьба окончилась победой рабочих. На собрании уполномоченных было выбрано правление исключительно из рабочих, туда вошло несколько членов партийной организации, а Григория Ивановича избрали председателем правления.

Три года напряжеино работал он с товарищами, старался наладить снабжение рабочих Сормовского завода. Опыта у рабочих не было, а дело было нелегкое, но все же рабочему правлению удалось его наладить. Сормовская кооперация имела четыриадцать отделов и обслуживала полиостью все потребиости рабочих, даже киижный отдел был.

В Печёрах жила сестра Настя и ее муж Григорий Яковлевич Козин, член партии, близкий товарищ брата. Все они работали в организации и активно боролись против самодержавия. В иашем домике и на квартирах сестер происходили занятия рабочих кружков.

Я провожала туда рабочих и пропагандистов, устраивала ночевки товарищам, живущим нелегальио. Носила я нелегальиую литературу и в гимназию. Приносила ее в иаш кружок, состоявший из учеников разиых школ, передавала товарищам, а те распространяли ее в своих школах. Часто ездила я к сестре и брату в Сормово. Бывая вместе с ним на собраниях, я узнала всех видиых членов сормовской организации.

В Канавине в Бабушкинской больнице работала

* В. А. Десннцкий вспомнирает Г. И. Гарниова как «патриарха сормовской органнзацнн» и добавляет: «С него началось мое собнрательство людей в Сормове в 1897 году». (Очерк «Горькнй нижегородских лет» в книге В. Десницкого «М. Горький». Государственное нздательство художественной литературы, Л., 1935 г.).

фельдшерицей Александра Мартемьяновна Кекишева, член нижегородской организации РСДРП (я тогда не знала, что она была и членом Нижегородского комитета). По пути в Сормово я нередко заходила к ней с поручениями брата. По конспиративным соображениям это было удобно и безопасно, потому что дочери врача Нифонта Ивановича Долгополова Люда и Шура учились со мной в одной гимназии и в больницу я заходила якобы к ним.

К А. М. Кекишевой за нелегальной литературой неоднократно ездила и мама. Получив литературу, она отвозила ее в Сормово по адресам, указываемым братом.

В это время мне пришлось близко видеть Алексея Максимовича Горького. Алексей Максимович устроил елку для бедных детей, человек на пятьсот, в манеже. Моя учительница Мария Вячеславовна дала мне тридцать билетов и поручила привести ребятишек из Печёр. В назначенный день я пришла с ребятами в манеж, но мы пришли рано, еще не все было готово. К манежу подъезжали подводы с ящиками. Алексей Максимович взваливал их на спину и таскал в манеж. Он был в высокой шапке, бурках и длинной фланелевой рубашке. Вдоль манежа были поставлены столы с подарками. Ребята сначала нерешительно жались вокруг елки, а потом, когда грянула музыка, оживились; наиболее бойкие пустились плясать. С какой радостью принимали они подарки! Долго потом наши ребятишки из Печёр вспоминали эту елку...

С 1900 года революционная работа на Сормовском заводе широко развернулась.

Поступление на завод моих братьев, последующие события происходили именно в этой обстановке. Подпольная партийная организация впитывала в себя все лучшее из массы рабочих. С Сормовом были связаны, Сормову отдавали свои силы видные работники нижегородской организации РСДРП — член Нижегородского комитета Иван Павлович Ладыжников, пропагандист Василий Алексеевич Десницкий. В работу Нижегородского комитета в это время включился ряд товарищей из рабочих-сормовичей. Алексей Максимо-

вич принимал горячее участие в делах организации и оказывал нам всяческую помощь.

Подпольная организация требовала от своих членов не только самоотверженной, беззаветной работы, но и материальных средств. Взносы рабочих — членов партийной организации — были главным и постоянным источником партийных средств. Вносились они в партийную кассу через доверенных лиц в своем кружке. Собранные деньги хранились у Петра Андреевича в доме Гариновых, где он жил, во взятой им у сестры Лизы коробке из-под халвы. Эту коробку Лиза в 1953 году вместе с некоторыми другими личными вещами Петра Андреевича, сохранившимися от сормовских времен, передала в Государственный исторический музей в Москве.

Надо сказать, что и в денежном отношении для нижегородской организации РСДРП очень много делал А. М. Горький. Однажды за деньгами для сормовской организации РСДРП на квартиру А. М. Горького был направлен Леня Баранов. Леня явился туда утром и оказался невольным свидетелем того, как Горький привлек к делу пополнения партийной кассы Ф. И. Шаляпина. На просьбу Алексея Максимовича помочь сормовичам Федор Иванович немедленно передал ему триста рублей — сумму немалую по тем временам.

Рабочие кружки росли. Правдивое слово ленинской «Искры» и местные прокламации широко распространялись среди рабочих завода. Полиция была бессильна. Ни аресты, ни обыски не могли остановить революционного движения среди сормовичей.

Зимой 1902 года велась подготовка к открытому выступлению Первого мая. Собрания происходили под видом вечеров на квартирах у Мити Павлова, Саши Сорокина, у Васи Тюменева. Я много раз ходила туда вместе с Петром. На одном из таких собраний я познакомилась с его будущей женой, Жозефиной Эдуардовной Гашер. Она вела пропагандистскую работу в Сормове, часто оставалась ночевать у сестры Лизы. Находя меня серьезной не по годам, она шутливо называла меня «маленькой женщиной».

Приближалась весна, и мы все с напряжением ждали Первого мая. Мама отвезла знамена в Сормово. Мне и маме было известно, что брат понесет Первого мая большое знамя.

ПОСЛЕ МАЕВКИ

После сормовской маевки Петр прочно засел в тюрьму. Младшего брата еще осенью 1901 года забрали в солдаты. Остались мы с мамой вдвоем в нашем домике. Мама тяжело переживала арест Петра, но не падала духом. Долго не давали ей свидания, и только после голодовки заключенных свидание разрешили. Сначала мы виделись с братом через двойную решетку. Потом начали давать свидание в тюремной конторе. Брат воспользовался этим и стал передавать мне записочки при пожатии руки. Выйдя из тюрьмы, я передавала их по назначению. Несколько таких записок я передала Жозефине Эдуардовне Гашер.

Однажды брат передал мне записку и попросил прочесть ее, прежде чем нести Жозефине Эдуардовне. Из нее я узнала, что брат любит Жозефину, и была очень рада этому: лучшей жены нельзя было ему и желать. С тех пор я стала часто видеться с ней и служила посредницей в их переписке. Так прошло лето.

Нижегородский комитет РСДРП в это время печатал и распространял большое количество листовок и прокламаций по поводу предстоящих судов над демонстрантами. Готовились сразу два судебных процесса: кроме участников демонстрации в Сормове, собирались судить еще и группу нижегородской учащейся молодежи, организовавшей демонстрацию 5 мая в самом Нижнем Новгороде.

Осенью 1902 года брата осудили на вечное поселение в Восточную Сибирь и отправили в Москву в Бутырскую пересыльную тюрьму.

После отъезда брата наш домик в Кошелёвке продолжал служить делу революции. Жившей в задней половине дома тетки Марьи, которой прежде опасался брат, нам с мамой опасаться уже не приходилось. Ее дети Ваня и Еня и ее зять — муж Ени, Василий Але-

ксандрович Черегородцев, рабочий-литейщик, — принимали участие в революционном движении. Попрежнему собирались в нашем домике кружки рабочих, читались прокламации, хранилась нелегальная литература. Домик служил убежищем для тех, кого преследовало царское правительство.

Мама ездила в Москву к Пете на свидание. В рождественские каникулы мы с Жозефиной Эдуардовной также поехали в Москву и два раза были у брата.

Брат оброс бородой, казался старше своих лет, но чувствовал себя бодро. Бутырская тюрьма произвела на меня тяжелое впечатление. В коридоре мы встретили партию каторжан в кандалах, головы их были наполовину обриты; звон кандалов гулко разносился под сводами тюрьмы. Я уходила с тяжелым сердцем, думая, что больше никогда не увижу Петю.

Когда осужденные за первомайскую демонстрацию 1902 года добрались до места ссылки, им была организована помощь. Деньги поступали от сборов среди рабочих, сочувствующей интеллигенции и от А. М. Горького. Пересылку денег поручили мне. Получала я их через организацию.

Я посылала деньги от своего имени — по пятнадцати рублей в месяц каждому из шести осужденных. Петя однажды — это было до приезда к нему Жозефины Эдуардовны — писал мне, что из получаемых пятнадцати рублей берет себе только пять. Остальные десять рублей он отдавал тем товарищам из ссыльных, которые помощи ниоткуда не получали.

После ссылки брата и его товарищей полиция усилила слежку за членами сормовской организации РСДРП. Обыски следовали один за другим. В 1903 году был арестован Сеня Баранов с чемоданом литературы и Митя Павлов. Но работа продолжалась, на место арестованных приходили новые товарищи. Вернулся Леня Баранов. (После демонстрации его разыскивала полиция, но на другой же день он скрылся из Сормова.) Вместе с Яшей Сачковым они организовали подпольную типографию в доме Храмовой. На завод его не приняли, и лето 1903 года он работал в Нижнем сторожем при библиотеке на Нижнем базаре. Библиоте-

кой заведовала О. П. Иваницкая, поэтому библиотека служила местом партийных явок и складом нелегальной литературы. Прямо с вокзала литературу доставлял туда тот же Леня Баранов.

Я училась еще в гимназии и продолжала вести свое небольшое дело. Я знала места собраний в Дубраве, около Сормова, квартиры товарищей и провожала куда нужно пропагандистов.

Зимой 1903/1904 года были арестованы мои учительницы—Мария Вячеславовна Тихомирова и Мария Петровна Иваницкая. Обеих выслали в Вятскую губернию. Весной 1904 года мы с Ольгой Петровной Иваницкой решили их навестить. Узнав, что я поеду в Вятку, один из членов организации дал мне поручение. Я должна была поехать из Вятки в Сольвычегодск и передать деньги и явочные адреса одному из ссыльных (фамилии его не помню).

ПОЕЗДКА В СОЛЬВЫЧЕГОДСК

Эта поездка хорошо сохранилась в памяти. Мы ехали несколько дней до Вятки на пароходе третьим классом. В Вятке я побыла два дня и отправилась в Сольвычегодск.

Приехали мы в Сольвычегодск часа в два, и я пошла разыскивать нужного мне человека. У первого попавшегося мне мальчика я спросила: «Где живут ссыльные?» Вошла в указанный мне дом и нашла там двух ссыльных студентов. Они очень обрадовались мне. Не говоря о цели приезда, я просто попросила их проводить меня к нужному человеку. Тот, к которому у меня было поручение, был пожилой. Он стоял и работал у верстака. Когда студенты ушли, я передала ему деньги и явочные адреса. Он сильно взволновался, крепко жал мне руку и благодарил.

Я пробыла в Сольвычегодске не больше двух часов и уехала обратно.

Вернувшись в Вятку, я поехала к Марии Вячеславовне. Прожила я у нее около двух месяцев. Жили они коммуной в пять человек, организовали переплетную мастерскую. Я тоже работала в этой мастерской. Жила

я в комнате Марии Вячеславовны и спала с ней на одной кровати. Все шло хорошо. Но однажды жандармы нагрянули с обыском. Я только собралась мыться в тазу, как в двери показалась Мария Вячеславовна. Она успела сказать: «Варя... обыск...» А сзади нее уже лез жандарм. Я запротестовала и потребовала, чтобы он закрыл дверь и дал мне возможность одеться. Быстро выхватив из-под матраца сверток нелегальной литературы, я выбросила его подальше за окно, в крапиву. По всей квартире уже шел обыск, который не дал никаких результатов.

НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ 1905 ГОДА

Домой я вернулась в августе 1904 года. Мама очень соскучилась по мне, прижала к груди, взяла на руки и стала меня носить по комнате, как маленькую. Опять мы с мамочкой зажили вдвоем. Никогда я не жила так хорошо, как в тот период. Мама по-молодому увлекалась всем и была мне хорошим товарищем. Мы с ней вместе изучали политическую экономию, читали нелегальную литературу, одинаково увлекаясь чтением, на последние гроши ходили в оперу. Помню, мы забрались с ней как-то на галерку и слушали «Фауста» с участием Шаляпина. Мама знала много песен и постоянно пела за работой. Когда кончался наш трудовой день, мама ложилась в постель и всегда просила меня поиграть ей на гитаре. Я садилась к ней, брала гитару и тихонько играла, пока она не засыпала. Попрежнему мы с мамой выполняли партийные поручения, иногда мама уезжала на неделю и больше. Когда у нас ночевал кто-нибудь из товарищей, я уходила к сестре.

Материально нам с мамой становилось жить все хуже и хуже. Я бросила гимназию, так как мне не хотелось ехать по окончании ее в деревню учительницей. Меня привлекало Сормово с его рабочим населением.

Скоро мне удалось поступить в сормовскую кооперативную лавку кассиршей. Сормовское общество потребителей умело использовалось партийной организацией в условиях подполья. Через Григория Ивановича Гаринова и бухгалтера общества Петра Семеновича

Захарова, тоже партийца, сюда устраивались многие из тех рабочих-партийцев, которых администрация прогоняла с работы на Сормовском заводе. К моменту моего поступления в сормовскую кооперативную лавку здесь работали Митя Павлов, Михаил Князев, Гриша Козин, Андрюша Ефремов, Платон Мелентьев и целый ряд других товарищей.

Жила я в то время у Гариновых, у сестры Лизы, недалеко от домика Барановых. Сеня Баранов вернулся из тюрьмы, Леня снова работал на заводе. Я была очень довольна, что устроилась в Сормове.

После «кровавого воскресенья» самые отсталые рабочие стали сочувственно относиться к революционным рабочим. В стенах завода начались митинги. Полиция была бессильна: ни одного агитатора ей не удалось арестовать — масса скрывала их в своих рядах.

Весной 1905 года митинги происходили ежедневно в роще, около рабочей столовой. Рабочие становились все смелее. В Сормово пригнали казаков и поместили их в ремесленной школе. Казачьи разъезды разгоняли митинг в одном месте — рабочие, не расходясь по домам, собирались в другом. Организация готовилась к вооруженному восстанию. Приобретали оружие. Леня Баранов и Митя Павлов с товарищами сами делали бомбы и пробовали их действие далеко за Волгой, в лесу.

Каждый вечер я ходила на митинги и собрания, ездила в город, провожала товарищей и устраивала для них ночевки. У Барановых и у Мити Павлова часто ночевали н жили члены нижегородской организации и приезжие из других городов. В домике Барановых бывал и Яков Михайлович Свердлов *. Беспрерывные митинги и собрания требовали от организации напряженной работы. Нужны были пропагандисты и агитаторы.

В июле полиция организовала в Нижнем еврейский погром. Сормовская организация прислала на помощь боевую дружину. На Нижнем базаре произошло

* По поручеиию ЦК партии Я. М. Свердлов приехал в Нижний Новгород в феврале 1905 года из Казани и, иаходясь здесь на иелегальиом положеиии (до коица июля), миого сил отдавал работе в Сормове.

целое сражение. Небольшая группа вооруженных бомбами и револьверами рабочих боролась против черной сотни и рассеяла полупьяную банду. Погром не удался.

ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ

Вскоре были арестованы Леня Баранов и Ваня Савинов. Их захватили казаки на пароходике, когда они приехали из города в Сормово. При обыске нашли у них оружие и обоих засадили в тюрьму. Там они просидели до октября 1905 года.

Из тюрьмы они вышли с триумфом. Наступили пресловутые «дни свободы». Рабочие бросились освобождать заключенных. Леню и Ваню приветствовала радостная толпа. На другой день была грандиозная демонстрация в Нижнем. Сормовские рабочие пришли со знаменами, с музыкой, распевая революционные песни. Стройными рядами, колонна за колонной вливались они на площадь перед кремлем, со стороны Зеленского съезда. Наивные люди думали, что царь действительно дал свободу, но большевики убеждали рабочих не доверять «царским свободам» и призывали рабочих к вооруженной борьбе с самодержавием.

Сормовская организация начала готовиться к вооруженному восстанию. На многих квартирах хранилось оружие. Хранилось оно и в доме Чугурина на Большой дороге.

Полиция, очевидно, проследила это, и однажды казаки окружили дом. Леня Баранов только что вышел оттуда, спрятав под пальто винтовку. В доме остались Ваня Савинов и несколько человек молодежи и рабочих. Двое казаков и полицейский Кимаев стали подниматься по лестнице.

У Вани была с собой бомба. Он распахнул дверь и, подпустив ближе казаков, бросил в них бомбу. Взрывом оба казака были убиты, Кимаев ранен. Оставшиеся на улице казаки начали стрелять по окнам дома. Савинов выбежал на лестницу, схватил винтовки убитых и скрылся. Случайно пострадал и проходивший в этот момент мимо дома один рабочий: его казаки в ярости подняли на штыки (пишу об этом факте со

слов Вани Савинова, которого я близко знала и часто встречала у Барановых).

Около 10 декабря 1905 года я взяла расчет в кооперативной лавке, поехала к маме в Кошелёвку и занялась приготовлением к отъезду в Москву. Собиралась я туда вместе с Леней Барановым и Федей Рыбниковым — у них был вызов партийной организации. С чем был связан этот вызов — об этом немного дальше. Но дня через два я узнала от Васи Калашникова, что в Сормове, как и в Москве, вспыхнуло вооруженное восстание рабочих. Мое место было в Сормове.

15 декабря рано утром, часов в пять, мы пошли туда с Васей окольной дорогой — берегом Волги, захватив с собой револьверы. Обычный путь — через Канавино и дальше сормовским «вагончиком»—был опасным: конечно, там всех задерживали и обыскивали.

Александро-Невская улица в Сормове одним концом выходила к Большой дороге, а другим упиралась в берег Волги, точнее — в Сормовский затон. До берегового ее конца мы и добрались. На эту улицу выходила главная проходная Сормовского завода. У проходной виднелись казаки, слышались время от времени выстрелы. Мы снова вернулись к Волге, прошли огородами до Починок. Там мы встретили товарища, от которого узнали печальную весть: баррикады накануне разбиты *, на улицах — ни души, рыскают казачьи разъезды. От него же мы узнали, что группа товарищей, защищавших баррикады, собралась у Петра Дружкина на Полянке. Я знала дом Дружкина, и мы пошли с Васей туда.

В доме Дружкина на полу спали крепким сном защитники баррикад. Среди спящих я узнала Федю Рыбникова, Леню Баранова и других. Жена Дружкина топила русскую печь и готовила пищу для бойцов.

Наступил вечер. Нужно было расходиться, оставаться в Сормове товарищам было опасно. Я предложила Феде Рыбникову и Лене Баранову итти ночевать

* Вооруженное восстание в Сормове началось 12 декабря. Баррикады сормовичей поднялись на следующий день — 13 декабря. Были разбиты артиллерией 14 декабря.

к моей сестре в Нижний. К нам присоединился Вася Калашников. Утром обсудили положение. Было известно, что вооруженное восстание в Москве разгромлено. Все-таки мы, все трое, решили ехать. Я достала у местных либералов пальто для Лени Баранова. Он пошел было в Сормово сам за документами и багажом для себя и Феди Рыбникова, но в Гордеевке его встретила знакомая сормовичка и предупредила, что ему грозит арест.

Тогда пошла я. В домике Баранова никого не было. Через соседей я разыскала сестру Лени, и мы вместе собрали все, что было нужно. 19 декабря я, Федя и Леня выехали в Москву.

В Москве было тревожно. На площадях стояли патрули солдат. На улицах подозрительных лиц задерживали и обыскивали. Я с вокзала направилась к брату Петру, а Федя с Леней — в Грузины, к товарищам.

Здесь надо рассказать, как приговоренный к пожизненной ссылке брат оказался в 1905 году в Москве.

ПОБЕГ ПЕТРА ЗАЛОМОВА

Ранней весной 1905 года Ольга Ивановна Чачина, тогда член Нижегородского комитета РСДРП, передала мне деньги — триста рублей — и просила переслать их Петру. На мой вопрос, откуда эти деньги, Ольга Ивановна просто ответила: «Алексей Максимович хочет помочь Петру бежать из ссылки».

Я послала деньги по условленному адресу и с нетерпением ждала какой-нибудь весточки от Жозефины Эдуардовны. Однако вестей пришлось ждать чуть ли не три месяца!

В начале июня Жозефина Эдуардовна проездом из Сибири заехала к нам в Нижний и рассказала о том, как был совершен побег Петра. Сговорившись с местными крестьянами, брат ночью уехал из Маклаковки (место его ссылки — село на Енисее, в 380 километрах на север от Красноярска). Его отъезд был обнаружен не сразу. Петр частенько уходил и раньше в лес на охоту, так что было естественно его отсутствие в течение двух-трех дней. На этот раз жандармы заволно-

вались. Жозефину Эдуардовну вызвал исправник, кричал и грозил, требовал указать, где находится муж. Она отвечала одно: «Не знаю, ушел в лес и больше не возвращался домой. Я сама беспокоюсь о нем».

Как потом рассказывал брат, он, едучи в санях в Красноярск, в дороге повстречался с знавшим его полицейским приставом Енисейского уезда, но тот не узнал его. Надо сказать, что его, пожалуй, не узнали бы даже самые близкие люди, настолько все привыкли видеть его с большой бородой, а он обрился. Брат благополучно добрался до линии железной дороги и сел в поезд. Из ссылки, через Киев, где его снабдили паспортом, он проехал в Петербург.

Долгое пребывание в тюрьме и ссылке не оторвало брата от политической жизни страны. В Петербурге он работал под чужим паспортом в Невском районе на нескольких заводах в качестве организатора, ездил на дачу Алексея Максимовича Горького в Куоккала *. По его рассказам я знаю, что к Горькому он ездил по поручению организации и целью его поездки была переправка из Финляндии в Петербург оружия, закупленного большевиками за границей.

Вскоре брат был послан организацией в Москву, где горячо взялся за подготовку вооруженного восстания.

Алексей Максимович Горький принимал самое деятельное участие в подготовке вооруженного восстания: доставал деньги на покупку оружия, помогал нелегальным устроиться с квартирами и т. д.

Знакомый Горького, А. А. Раззорёнов, жил на станции Перловка Ярославской железной дороги и занимал отдельную дачу. Предполагалось одну комнату на даче Раззорёнова отвести под мастерскую для изготовления оболочек бомб. Их думали отливать кустарным способом. Для этого нужны были верные, надежные люди. В начале декабря 1905 года в партийную организацию Сормова приехал из Москвы товарищ с поручением от Петра Андреевича — брат просил срочно приехать

* Куоккала (ныне Репино) — поселок недалеко от Петербурга, тогда в Финляндии, в котором А. М. Горький жил лето 1905 года.

к нему Леню Баранова. 4 декабря Леня уехал, а 6 декабря он уже вернулся обратно в Сормово — подобрать и пригласить еще двух нужных для дела товарищей. Выбор пал на члена РСДРП Федю Рыбникова — он обладал нужной для предприятия профессией литейщика. Меня, с согласия брата, брали для связи и транспортировки готовых оболочек.

По приезде в Москву Леня Баранов и Федя Рыбников вместе с братом ездили в Перловку к Раззорёнову и обсуждали вопрос о том, как практически наладить отливку бомб кустарным способом. Однако осуществить задуманное по ряду причин не удалось.

В день моего приезда в Москву Петр только что вернулся с баррикад — он участвовал в защите Красной Пресни. С большим трудом добрался он домой. Жозефина Эдуардовна уже не ждала его; несколько дней как разыскивала в моргах среди убитых товарищей и по больницам.

В эти тревожные дни стоял сильный мороз. На площадях и перекрестках горели костры, около них топтались, согреваясь, солдатские патрули. По всему городу происходили аресты. Царское правительство жестоко расправлялось с революционным движением. Переодетые полицейские останавливали и обыскивали каждого подозрительного человека. Нередко стреляли в спину тем, кто пытался бежать.

...Брат жил в Москве до весны 1906 года, продолжая активно работать в большевистской организации. Но здоровье его сильно пошатнулось. Голодовки, побои, тюрьма, ссылка давали себя знать.

ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА

В начале 1906 года я переехала в Петербург. Леня Баранов поехал со мной. Через некоторое время приехали из Сормова Сеня Баранов и Миша Чучин — им нельзя было оставаться в Сормове. Из Москвы приехал Митя Павлов. Но в Петербурге нашей сормовской коммуне пришлось трудно: устроиться на работу было почти невозможно.

Меня познакомили с Петром Францевичем Лесгаф-

том, я рассказала ему о наших бедствиях. Петр Францевич поступил смело и благородно: в пору черной реакции он не побоялся взять на работу участников вооруженного восстания в Сормове. Он тут же предложил Мите Павлову и Лене Баранову места сторожей у себя на курсах и разрешил нам в свободное от работы время приходить слушать лекции. Мите и Лене положили по семнадцати рублей, с правом получать обед из студенческой столовой за три рубля в месяц. Эти два обеда мы делили на пятерых, и все были сыты, налегая на хлеб. Днем оставшиеся без работы товарищи искали работы, а по вечерам мы забирались в аудиторию курсов и слушали лекции по анатомии, по истории и другим дисциплинам.

Так прожили мы до марта 1906 года. За это время связались с партийной организацией, и Лене предложили организовать подпольную типографию. В типографию нужно было троих товарищей. Мы с Леней официально привели свои личные дела в порядок, перешли на нелегальное положение и, как супруги Свенцицкие, сняли квартиру для типографии на Подрезовой улице. Миша Чучин числился нашим жильцом.

С жаром принялись мы за работу. В июне работа прервалась, можно было недельку отдохнуть. Мы сказали дворнику, что едем на дачу, а сами пошли к моей двоюродной сестре Евгении Васильевне Черегородцевой. Муж ее работал на Франко-русском заводе, а жили они на Пряжке, в доме № 66. Мы пробыли у них несколько дней и собирались уже вечером домой, когда сестра принесла газету. Неожиданно мне бросилась в глаза заметка: «Обнаружена подпольная типография на Подрезовой улице, в квартире Свенцицких. Супруги Свенцицкие разыскиваются». Пришлось отдать в прописку свои настоящие паспорта и остаться жить у Черегородцевых. Полиция нас так и не разыскала. Миша Чучин привлекался один по делу о подпольной типографии, его осудили на три года крепости. Он сидел в одиночке в Крестах.

Мы прожили у Черегородцевых два месяца. Потом Леня поступил на ситценабивную фабрику братьев Леонтьевых. Но после забастовки его рассчитали, как чле-

на забастовочного комитета. У нас рос маленький сын, и безработицу переживать было тяжелее, чем раньше.

В 1909 году я подготовила мужа на политехнические курсы. Он работал и учился. Работа была тяжелая, отдыха было мало, и он через год заболел туберкулезом. Я поддерживала его как могла, бегала по урокам. Снова переживали десять месяцев безработицу. Я потеряла уже всякую надежду на выздоровление мужа.

В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Великая пролетарская революция застала меня с мужем в Москве. Мы жили в квартире, принадлежавшей заводу Михельсона. На этом заводе работал мой муж. Снаряды летели через наш дом. С завода отправлялись на бой за власть Советов вооруженные михельсоновские рабочие. Я, к своему великому горю, не могла из-за маленьких детей участвовать в Октябрьской революции.

В Москве очень плохо было с питанием. Я уехала в Сормово, к матери мужа. В Нижнем как-то встретилась с Марией Петровной Иваницкой, и она предложила мне поехать на работу в Лысково на Волге, недалеко от Нижнего. Я выехала туда вместе с детьми. Работала там заведующей книжным магазином, библиотекарем и воспитательницей в детском доме. Летом 1919 года приезжал в Лысково и муж. Он работал преподавателем в местной ремесленной школе.

В годы гражданской войны все члены нашей семьи разъехались по всему Союзу. Сестра Саша жила с семьей в Томске. Настя и старший сын ее Александр, участвуя в гражданской войне, подвигались на юг вместе с Красной Армией. Когда Красная Армия заняла Баку, Настя с семьей осталась там жить. Сын сестры Оли Сережа Денисов погиб в Сибири, в борьбе с бандитами Колчака. Но, несмотря на тяжелые годы разрухи, наша молодежь — дети сестер и братьев — зажила совсем другой жизнью. В тряпичных самодельных туфлях, в пальто из старых шинелей молодежь наша пошла учиться в рабфаки и вузы. Старшее поколение завоевало им это право.

Брата Петра годы военного коммунизма застали в тихом провинциальном городишке Суджа Курской губернии. Попал он в Суджу по воле случая.

После революции 1905 года все его товарищи, приговоренные к пожизненной ссылке, получили возможность вернуться из Сибири и жить легально. Брат тоже решил перейти на легальное положение. Он поехал в Нижний Новгород и получил паспорт на свое имя, но полиция запретила ему проживать во всех городах, где есть производство и рабочие.

В это время его жена получила место учительницы в городе Суджа. Пришлось и ему остановить свой выбор на этом маленьком городке.

Фактически жизнь в Судже стала для Петра второй ссылкой с запрещением выезда и запрещением где бы то ни было работать. Полиция следила за каждым его шагом. Здоровье Петра, расшатанное голодовками, тюрьмой и ссылкой, в эти годы ухудшилось. Особенно плохо он чувствовал себя в 1908—1910 годах. Под постоянным надзором полиции брат прожил до Февральской революции 1917 года.

Живя в Судже, он с увлечением занимался садоводством, имел переписку с Мичуриным. По его советам разводил в саду у себя лучшие мичуринские сорта плодовых деревьев и распространял их среди окрестных крестьян. Садоводство помогало ему существовать и вместе с тем служило ширмой для революционной работы среди крестьян.

С первых дней Великой Октябрьской революции брат словно ожил. Несмотря на болезнь, он всю свою энергию стал отдавать строительству социалистического общества, за создание которого боролся всю свою жизнь. Но гораздо подробнее об этом периоде его жизни рассказывает он сам в своем письме к брату Александру. Ниже я привожу отрывок из этого письма.

ОТРЫВОК ИЗ ПИСЬМА П. А. ЗАЛОМОВА К БРАТУ АЛЕКСАНДРУ

«...В 1917 году я принял участие в организации советской власти в уезде. Революционным советом был принят написанный мной проект организации уездно-

го совета комиссаров, и я был избран комиссаром труда.

Очень трудно было работать, мы были оторваны от центра и от Курска.

Белые во время захвата Суджи несколько раз собирались меня вешать, но мне три раза удалось избежать петли. Последний раз был арестован деникинцами, и меня судили военнополевым судом. Тюремщики очень много издевались надо мной и чуть ли не каждый день грозили виселицей и расстрелом. Я приготовился умирать и употреблял время на пропаганду среди конвойных в то время, когда меня водили во двор в уборную. Мне помогло то, что я попал во вторую очередь. Первую очередь — девять человек — бросили в котлы с кипящей смолой (котлы были поставлены на площади). Население, даже буржуазное, было этим страшно возмущено. За меня энергично вступилось учительство и горожане. Среди судей, — судило восемь офицеров, — были разногласия. Особенно хотел моей смерти военный комендант, полковник, которому я наговорил дерзостей при аресте. Накануне суда был приготовлен отряд в девять человек для расстрела.

Меня несколько раз провоцировали, предлагая ночью бежать, когда провожали в уборную, на другой конец двора. Если бы я согласился на это предложение, меня, разумеется, сейчас же застрелили бы выстрелом в спину, а потом вывесили бы объявление, что Петр Заломов «убит при попытке к бегству». Независимо от этого тюремщики твердо решили меня «ликвидировать», и они, конечно, привели бы свое решение в исполнение, если бы не пришли красные».

ПОД РАССТРЕЛОМ

Петр не раз рассказывал мне о том, что ему пришлось пережить в годы гражданской войны. Один рассказ его мне особенно запомнился. Приведу его полностью.

Городок заняли белогвардейцы. Ночью нагрянули и стучат в ворота: «Открывай!»

Открыл Петр калитку, в дом ворвалась банда бе-

логвардейцев с офицером во главе. Перерыли все в доме, взломали в чулане замок, где стояли вещи учительницы французского языка (она выехала из Суджи и оставила свои вещи у брата), нагрузили две подводы вещами и уехали. Брат был возмущен этим грабежом. Особенно ему было неприятно, что увезли вещи учительницы. Он решил вернуть их. Попасть к коменданту было невозможно, к нему стояла большая очередь. По дороге Петр зашел к знакомым учительницы, местным буржуям, и благодаря их протекции его пропустили без очереди к коменданту.

Брат заявил, что утром у него был совершен грабеж. Комендант на него закричал: «Это наглая ложь! Наша армия не занимается грабежами». Петр указал на одного из офицеров и сказал: «Вот он руководил грабежом, и от меня увезли награбленное на двух подводах». Комендант вскочил и велел брата арестовать. Его схватили и бросили в подвал. Так, благодаря *протекции* он был арестован и ждал расстрела.

Кроме брата, в подвальном помещении было еще трое арестованных. Среди них — Никита Сагайдаков, местный учитель, тихий, скромный человек.

Сначала увели из подвала одного товарища, потом другого. Петр остался с Сагайдаковым вдвоем. Они тихо беседовали. Была ночь. Охранники запели:

Як умру, то поховайтэ
Мэнэ на могыли...

Грустный и трогательный напев украинской песни навел на раздумье.

— Отходную нам поют! — сказал Сагайдаков и тихо добавил: — Как не хочется умирать!

Чтобы подбодрить товарища, брат стал рассказывать ему, как умирал его любимый народный герой Разин Степан.

На рассвете увели Сагайдакова. Брат крепко обнял его и остался ждать своей очереди.

Позже, когда городок заняла Красная Армия, он узнал подробности казни Никиты Сагайдакова. Этот тихий, скромный человек умер смертью героя. Его поставили на краю могилы, где лежали тела убитых ранее

товарищей, и потребовали выдачи коммунистов. Он молчал. Его начали истязать, пока не превратили все тело в кровавую массу...

Когда население откопало казненных товарищей, Никиту Сагайдакова узнали только по клочьям вышитой рубашки. Хоронили расстрелянных с музыкой и знаменами. Население городка шло за гробами своих погибших героев.

С приходом советской власти Петр повел большую работу среди крестьян. Брат по натуре своей природный агитатор. Он умело вел беседы, проводил читки газет, просто и ясно рассказывал крестьянам о политике советской власти в деревне. На его адрес было выписано тридцать экземпляров крестьянской газеты «Беднота». Получив газеты, он отправлялся на базар и, переходя от воза к возу, раздавал газеты крестьянам и вел с ними беседы. Беседы пользовались большим успехом, народу собиралось много, всем хотелось послушать о последних известиях с фронта, о кооперативах, о новых декретах и постановлениях правительства.

Когда началось колхозное движение, брат организовал из суджанских крестьян колхоз «Красный Октябрь». В колхоз вошли бедняки из местной слободы. Кулаки вели бешеную кампанию против колхоза, всячески старались навредить новому делу и не раз грозились убить брата.

Организовав в 1930 году колхоз, Петр семь лет был бессменно членом его правления и отдавал этой работе все свои силы и энергию.

В 1925 году скромный домик брата посетил Вячеслав Михайлович Молотов. Часа три он тепло беседовал с братом. Об этой встрече у брата остались самые лучшие воспоминания. Вот что, например, он мне рассказал:

— Беседуем мы с Вячеславом Михайловичем. Вдруг звонок у входных дверей. Молотов поднимается и говорит:

— Я сам отопру!

Это меня так взволновало, что я растрогался до слез. Вот где сказалась большая чуткость, заботливость ко мне, рядовому солдату революции.

НА СКЛОНЕ ЖИЗНИ

В 1935 году гостила у меня в Ленинграде мама. Она выступала на собраниях и делилась воспоминаниями с рабочими на заводе «Севкабель», на фабрике имени Урицкого, в 23-й школе и других местах. Я всюду сопровождала ее.

Особенно запомнилась мне встреча мамы с работницами фабрики имени Урицкого *.

Это был канун восемнадцатилетия Октябрьской революции. В огромном гильзовом цехе фабрики собрались работницы, узнавшие, что к ним в гости приехала Анна Кирилловна.

Кто видел тогда маму, эту маленькую старушку, с удивительно живыми, чуть лукавыми глазами, тот надолго запомнил изборожденное глубокими морщинами, приветливо улыбающееся лицо, седую голову, покрытую старомодным черным кружевным шарфом, и тихий старческий голос, взволнованно рассказывающий простыми словами события своей жизни.

Собравшиеся работницы, старые и молодые, затаив дыхание, слушали ее.

— Берегите советскую власть! Крепко стойте за рабочее дело. И сегодня я с гордостью матери рабочего скажу: то красное знамя, которое нес мой сын Петр Заломов, с древка не сорвано — оно гордо реет над нашей страной.

Так закончила свою речь мать, покашливая и поправляя старческой рукой назойливо вылезавшие у подбородка кончики кружевного шарфа.

Пожилые работницы пытливо вглядывались в освещенное ярким светом юпитеров лицо мамы — такая ли она, какой представлялась им со страниц горьковской повести мать бесстрашного революционера.

Когда старые работницы слушали рассказ мамы о голодовке Петра, нет-нет, да кто-нибудь и стряхивал с глаз непрошенную слезу. Кому, как не матерям, по-

* Это выступление Анны Кирилловны Заломовой было заснято бригадой кинохроники и вошло как эпизод в документальный кинофильм «Семья Заломовых», снятый в 1937 году режиссером В. Беляевым по сценарию Д. Левоневского и Г. Долинова.

нять, что творилось в ее душе, когда она волновалась за жизнь своего сына?

Провожали маму шумной толпой, наперебой стремясь пожать ей руку. Приглашали ее хоть еще разок прийти в гости на фабрику. А одна из работниц, поднося ей цветы, сказала:

— Читая книгу «Мать», мы мысленно роднились с вами. Мы преклонялись перед вашей стойкостью и самоотверженностью. Вы, Анна Кирилловна, не представляете, сколько миллионов материнских сердец наполнялись горячей любовью к вам при чтении этой книги!

Я написала Петру о выступлении матери. Вот какое письмо она получила от него:

«Дорогая мама!

Варя рассказала мне о твоих выступлениях. Я очень рад, одобряю и горжусь тобой. Твои выступления не менее ценны, чем доставка прокламаций, доставка знамени в прошлом.

...В твоей жизни было много тяжелого, но ты можешь гордиться тем, что вырастила целую семью бойцов за коммунизм, что твоя жизнь не оказалась бесполезной, ненужной, как жизнь многих и многих тысяч мещан, живших только для самих себя.

Крепко тебя целую, моя мать!

Твой сын Петр Заломов»

ВСТРЕЧИ

В апреле 1937 года я получила от Н. Г. Денисовой, маминой внучки по сестре Лизе, письмо. Она писала:

«Дорогая Варя! Убедительно прошу тебя приехать летом. А то через год бабушка тебя уже не увидит. Она слепнет... Уже не плетет и не читает, больше лежит или спит... Приезжай, Варя! Бабушка очень хочет тебя видеть.

Нина»

Брат Петя тоже неоднократно приглашал меня с мужем к себе в Суджу, рисуя заманчивые картины

отдыха в своем саду и домике. И мы с мужем, — он был тогда старшим инженером «Гипромаша», — решили ехать повидать старых друзей и товарищей, взглянуть на те места, где протекала наша молодость и революционная работа.

Мы выехали из Ленинграда 18 июня 1937 года. Москва оглушила нас радостным шумом и движением. Спускаемся в метро. Когда мы в молодости мечтали о социализме, мы даже в мечтах не могли представить себе такой красоты, роскоши и удобства, какие дает трудящимся настоящее, реальное строительство социализма в нашей стране. Не хотелось расставаться с метро. Мы превратились в веселых молодых людей, несколько раз спустились и поднялись на эскалаторе.

В Судже мы застали Петра за обедом в обществе его младшей дочери Лели и ее детишек «Юрки с Иришкой», как обычно их здесь называют. Здесь же были жена брата Юзя и его старшая внучка Юля, хорошенькая черноглазая девочка лет одиннадцати.

Брат по внешности все тот же: та же плечистая фигура, молодые, живые глаза, только весь поседел. И Юзю, жену брата, я застала такой же деятельной, какой знала ее и прежде. Круглый год она встает в шесть часов утра, и день ее доотказа наполнен. Это необычайно организованный человек: всё и всюду она успевает. Уже много лет она, кроме своей основной педагогической работы, ведет политработу среди учителей района. Юзя — деятельный и неизменный помощник и товарищ брата во всех его общественных начинаниях и делах. Она много помогала ему в работе по коллективизации, по работе среди населения, особенно женщин. В пору, когда я у них была, она, кроме всего, вела две партшколы пригородных слобод. Ее педагогическая работа была впоследствии высоко оценена правительством — в 1939 году она была награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Я видела ее учеников-отличников, воспитанников местного техникума, где Юзя преподавала историю и вела работу с заочниками. Все это колхозная молодежь. Многие из них получили назначение работать в свой колхоз.

Домик брата сильно изменился. Курский облисполком позаботился о ремонте дома.

Брат оказался прекрасным садоводом. Он развел у себя в садике до 60 мичуринских сортов яблонь и груш и даже получил премию в 750 рублей. В одном из журналов была помещена статья о его работе как садовода *. Брату пишут со всех концов страны. Пишут школьники, бойцы Красной Армии, рабочие и работницы. Ни одного письма он не оставляет без ответа.

В этот приезд я ближе познакомилась с младшей дочерью брата Лелей, коммунисткой, как и все остальные члены его семьи. За плечами у нее был московский вуз и уже несколько лет педагогической работы — преподавание истории партии в педагогическом техникуме, на рабфаках, политкружки. Муж ее Павел Александрович в то время учился на курсах при ЦК ВКП(б) в Москве, а до того был секретарем Арзамасского райкома партии.

Никогда я не забуду этих вечеров, проведенных в домике у брата. Петя читал нам отрывки своих воспоминаний, письма. Много рассказывал.

...Не хотелось уезжать из Суджи, но дни отпуска текли быстро, а нам нужно было еще побывать в Горьком и в Сормове.

Проездом через Москву побыли у старшей дочери Петра Андреевича — Гали, тоже члена партии, инспектора по охране труда подростков в ЦК союза автомобильной промышленности, и ее мужа — инженера, строителя-путейца. Когда-то, в детстве, он был подпаском, потом, как многие, пошел учиться — биография, характерная для большого слоя нашей новой, советской интеллигенции.

Вот и Горький.

Сначала в Сормово. Смотрим в окна трамвая и не узнаем местности. Поля между Канавином и Варихой нет. Всюду новая стройка. Лентой легла асфальтированная дорога. Вариха, Дарьино... Когда-то отдельные деревни — все это плотно слилось воедино, стало Сормовским районом. За тем, что когда-то называлось

* Отрывок из этой статьи см. здесь, стр. 183.

Дарьином, на бывшем поле высится белое здание Дворца культуры, около раскинулся громадный Парк культуры и отдыха, переходящий в естественный лесок.

Вот и Большая дорога. Та самая, про которую в песне когда-то пелось: «Сормовска больша дорога вся слезами залита». Ее тоже нельзя узнать. Она асфальтирована, с одной стороны идет зеленая аллея, с другой разбиты газоны с цветниками...

Здравствуй, родное Красное Сормово! Мы с Леней идем по аллейке, идем местами, памятными ему по демонстрации 1902 года, — глаза его горят — он останавливает меня:

— Вот смотри, Варя... Вот тут схватили Петю со знаменем... Вот здесь мы столкнулись с солдатами... А вот из этого переулка потом выехали казаки и принялись разгонять народ нагайками — это было уже после того, как Петю схватили. Мы тогда, по уговору, отступили, смешались с толпой... Казаки наезжали и хлестали не разбирая. Мне тоже попало — по спине, ну вот я и махнул тогда через забор вот этого дома Седова...

Идем дальше — и опять памятные сормовские места, уже по 1905 году. Вот дом Балахонова, из которого дружинники взорвали фугас перед баррикадами, когда в наступление на них пошли солдаты... Вот и место главной сормовской баррикады 1905 года — около каменной красной школы. Вот — недалеко — дома Плескова и Дыбкова, куда сносили раненых...

Мы побывали с Леней и в старом домике Барановых.

Осмотрев Сормово, мы поехали в Горький. Сели в автобус, через 25 минут он доставил нас к Дому союзов. Проезжая ярмаркой, мы снова не узнавали местности. Вместо старого плашкоутного моста через Оку высился новый, красивый мост. Вдали через Волгу виднелся другой мост—железнодорожный. В кремле, на месте кафедрального собора стоит Дом Советов.

Идем по улице Дзержинского, где живут мама с сестрой. Вошли во двор нового дома. Смотрим, навстречу нам пробирается с палочкой в руках старушка, ощупывая путь перед собой. Острая жалость про-

низывает сердце — это мамочка! Она слепнет и поэтому тихо двигается по дорожке. Я бросаюсь к ней и прижимаю ее к своей груди. Она целует меня и мужа, и мы под руки ведем ее в комнату.

У мамы с сестрой Лизой светлая комната в третьем этаже нового дома. Под окном огромные липы, слева виднеется стадион. Мать сажает меня лицом к свету, садится напротив и долго смотрит, расспрашивает о семье, о моей работе среди женщин, слушает внимательно. Я несколько раз повторяю одно и то же. Она улыбается и одобрительно кивает головой.

Вечером зашли Петя Денисов с Ниной, старшие внуки Анны Кирилловны. Петя Денисов — старший сын моей сестры Оли. Он инженер, работает на горьковском автомобильном заводе. Рос, строился и развивался завод, а с ним вместе вырастали рабочие, становясь мастерами своего дела, инженерами, начальниками цехов. К ним принадлежит и Петр Павлович Денисов. Он одновременно работал и учился. В 1937 году занимал должность начальника цеха главного конвейера. Слушаешь Петра Павловича — и невольно вспоминаешь прошлое их семьи.

Вот они, три маленьких брата: Петя, Сережа и Володя. Отец их, Павел Михайлович Денисов, был помощником машиниста на пароходе «Известный». Жили они летом на этом же пароходе. Их каюта, в одну кубическую сажень, помещалась у самой машины. Проходя в каюту, мальчики жались к стенке, чтобы их не задел качающийся цилиндр пароходной машины.

Как же пять человек помещались в такой каюте? Петя и Сережа спали на откидных скамейках, Оля с мужем — на узкой койке, а Володя — под койкой. Могли ли родители мечтать о том, что их сын будет инженером, начальником крупнейшего цеха завода-гиганта?

На другой день я была у стариков Денисовых. В их сердце никогда не заживет рана. Второй их сын, Сережа, погиб в Сибири, в борьбе с колчаковскими бандитами. Младший сын, Володя, работает старшим бухгалтером в городе Горьком, младшая дочь, Валя, — на автозаводе.

Вечером меня ожидает новая встреча — с сестрой Сашей из Томска. Мы идем ее встречать вместе с Лизой и весело шествуем к вокзалу под дождем. Лиза сослепу то и дело шлепает по лужам.

Вот и вокзал. Радио возвещает о прибытии поезда. Через несколько минут мы обнимаемся с Сашей. Сестра Саша — вся седая, как и Лиза. До чего она похожа на брата Петю! Сашеньке 66 лет, она получает пенсию, приехала в Горький пожить с мамой.

На другой день приехали ее сыновья Коля и Алеша. Все собрались у бабушки, в маленькой комнатке. Мне понравились мои племянники-сибиряки. Алеша только что окончил Томский педагогический институт и назначен педагогом в Сталинск. Коля окончил Одесский институт связи и год проработал на Камчатке помощником начальника Радиоуправления Камчатской области. Он коммунист; учась, был в институте секретарем парткома.

Мы расположились группой вокруг бабушки. Алеша прилег на полу. Мамочка оживилась, помолодела. Мы попросили ее прочесть нам что-нибудь по памяти. Мама стала декламировать стихи Некрасова, Беранже и А. Толстого.

Алеша и Коля были поражены ее памятью и выразительностью чтения. Просидели до позднего вечера...

В эти дни приехала в Горький делегация австрийских рабочих. Они захотели повидаться с матерью. Свидание с делегацией произошло 27 июля на стадионе, рядом с домом, где живут мама с сестрой. Мы приехали с мамочкой на автомобиле обкома партии.

Вместе с мамой были сестры Саша, Лиза и я. Навстречу автомобилю спустилась группа рабочих человек в тридцать. Все молодые, хорошие лица, — юноши и девушки. Они окружили маму, принесли скамейку. Мы все сели, началась — через переводчика — мамина беседа с австрийской молодежью.

В конце беседы порывисто поднялась молодая девушка и обратилась к маме со словами теплого приветствия. Она говорила, и слезы текли у нас от волнения по лицу.

— Дорогая Анна Кирилловна! Австрийские рабочие вас знают и любят. Мы восторгаемся вашей революционной деятельностью. Ваша жизнь служит примером и вдохновляет нас на борьбу с фашизмом... Наши матери берут с вас пример. Ваше имя никогда не умрет в наших сердцах. Желаем вам еще долгой и счастливой жизни.

— Спасибо, милые вы мои! — с волнением отвечала мама. — Боритесь! Скоро и вы завоюете свободу. Труд должен победить капитал.

Мама встала, ее снова окружили.

— Как жаль, что я плохо вижу! — говорила она. — Так хотелось бы запомнить ваши лица!

Она взяла за плечи девушку, повернула ее к солнцу и пристально вглядывалась в ее лицо. Девушка вдруг склонилась и поцеловала у мамы руку.

Австрийские рабочие вручили маме букет живых цветов. Мы простились и сели в автомобиль.

СМЕРТЬ МАТЕРИ

Вернувшись в Ленинград, я принялась за работу. По поручению культинспекции я обследовала жакты, выявляла неграмотных, работала групповодом в школе взрослых. Время быстро летело. Незаметно подкралась зима. Из Горького стали приходить тревожные известия: мамочка начала окончательно слепнуть. Это страшно удручало ее, ведь она так любила читать! Повсюду шла подготовка к выборам в Верховный Совет СССР, всюду изучали новую Конституцию, а она не в состоянии была сама прочесть ни одной печатной строки. Внучка, по ее просьбе, вечерами терпеливо, раздельно читала ей вслух...

Четвертого декабря я получила от сестры письмо. Она писала:

«Маме заметно хуже. Она почти все время лежит, вздыхает и повторяет: «Скоро настанет ночь непроглядная». Слепота ее удручает. Из облсобеса прислали подарок. Обещают на-днях дать ордер на новую квартиру в Доме старых большевиков. Как жаль, что мама ослепла! Она не увидит ее. Последние дни она разли-

чает только цифры, не разбирает человеческих лиц и людей узнает только по голосу».

После этого письма сестра долго не писала. Я волновалась. Наконец 16 февраля пришло письмо:

«Дорогая Варя! Я знаю, что ты ждешь известия о маме. Нам дали хорошую квартиру со всеми удобствами. Но мама ничего этого не видит. Выглядит она совсем плохо. Исхудала, стала маленькой, как девочка. Ничего не ест, пьет только одно молоко, и то очень мало. Несколько раз вызывали врачей. У мамы оказалась больная печень. Держим беспрерывно грелки. Иногда она посидит минут пять в подушках и снова ложится. Недели две назад ей стало немного лучше. Под руку со мной она тихонько обошла, опираясь на палку, все комнаты».

Вечером 7 марта я нашла на столе телеграмму: «Бабушка скончалась». Тут же выехала в Горький.

Насколько многолюдны были похороны, можно судить по тому, что от самой маминой квартиры до края могилы народ стоял сплошной стеной. Процессия тихо двигалась под звуки траурных маршей. Впереди несли венки от сотен организаций. Из толпы бросали на гроб живые цветы. У могилы состоялся митинг. Знамена в последний раз склонились над гробом, — красные священные знамена революции склонились над прахом Анны Кирилловны, горьковской Пелагеи Ниловны. Толпа затихла...

Последним выступил брат Петр.

Он стоял на краю могилы и как-то неожиданно заговорил сильно и ясно, так что все услышали. Он говорил, а руки и ноги его дрожали от сильного волнения. И я видела, каких нечеловеческих усилий стоила ему эта речь над гробом матери. В наступившей тишине мерно раздавались его слова:

— Последний раз из-за тысячи верст приехал я к тебе, моя мать! Я приехал говорить с тобой, приехал говорить с матерями нашей великой социалистической страны. Я приехал прочитать последние строки, написанные для тебя кровью моего сердца...

Толпа молчала. Слышно было, как сотни людей дышали прерывисто и учащенно. Петр продолжал:

— В долгие мрачные годы бесчеловечного угнетения и зверской эксплуатации всех трудящихся — царизмом, помещиками, капиталистами — отдельные гуманные люди находили себе утешение в мечтах о прекрасном будущем, которое должно прийти в результате гуманистического перерождения кровавых зверей, державших в своих руках политическую и экономическую власть над десятками миллионов трудящихся — рабочих, крестьян, служащих, интеллигенции.

Только великие вожди пролетариата научно доказали, что мир не только должен быть изменен, *но и может быть изменен* путем решительной и беспощадной борьбы за диктатуру пролетариата, путем создания социализма и коммунизма.

Для завоевания диктатуры пролетариата, для построения социализма и коммунизма требуются героические усилия не только со стороны вождей, со стороны людей высокоодаренных, но и со стороны рядовых, скромных тружеников, к числу которых принадлежала и ты — моя мать!

Не сразу, с огромным трудом, пришла ты к пониманию идей Маркса—Энгельса—Ленина... Но когда ты поняла все величие этих идей своим умом и сердцем, то уже не жалела для борьбы за них ни своей собственной свободы и жизни, ни свободы и жизни своих детей.

Незаметна, скромна была твоя работа, но для победы пролетариата она была необходима, как и усилия десятков и сотен тысяч бойцов за коммунизм, подобных тебе.

Ты получила великую награду — твоя жизнь послужила прообразом для героини романа «Мать», созданного гением великого пролетарского писателя Максима Горького.

И ты дожила до лучезарного счастья победы социализма на одной шестой части земного шара!..

Ты знала, родная, что за публичный призыв к ниспровержению существующего при царизме строя было одно только наказание — смерть через повешение.

Ты знала, родная, что меня, по приказу офицеров, солдаты могли поднять на штыки, но ты сама привезла

мне красное знамя с грозной надписью «Долой самодержавие!» — сама вложила его в мои руки.

Таких матерей, как ты, у нас миллионы.

Когда наступит грозный час борьбы за неприкосновенность границ нашего многонационального Союза Советских Социалистических Республик, все матери страны социализма последуют твоему примеру и сами вложат винтовки в руки своих сынов и дочерей.

Я любил и буду любить тебя, родная!

Буду любить не только за то, что ты дала мне жизнь, но и за то, что ты была моим другом, была смелым и верным товарищем в борьбе за сказочные мечты лучших людей человечества — в борьбе за лучезарно-прекрасное коммунистическое общество...

Спи спокойно, моя мать! Ты честно прошла свой долгий, трудный, но славный путь, и ты будешь жить в моем сердце до тех пор, пока оно не перестанет биться. Прими мой последний поцелуй и прости навсегда.

...Несколько минут стояла абсолютная тишина. Петр наклонился и поцеловал маму. За ним — все близкие. Я склонилась к ней последняя.

Гроб опустили в могилу. Быстро вырос холмик, весь покрытый венками и живыми цветами.

СНОВА В РОДНОЙ СЕМЬЕ

В декабре 1939 года, я приехала в Москву на съезд учителей школ взрослых, собравшийся в память двадцатилетия декрета Ленина. Решила забежать к младшей дочери брата Леле и у ее подъезда встретилась с братом. Он стоял и поджидал Ивана Павловича Ладыжникова. Мы были удивлены и обрадованы неожиданной встречей. Петя приехал в Москву получать орден Трудового Красного Знамени, которым его наградили вместе с большой группой сормовичей, награжденных правительством в связи с 90-летием Сормовского завода.

Вскоре подъехал Иван Павлович, сильно постаревший, все такой же простой, скромный и милый, каким я знала его раньше.

Вечером мы снова встретились с братом. Петя всегда проявлял огромное внимание ко мне, к моей деятельности, всегда подробно обо всем расспрашивал. Так было и на этот раз. Я долго рассказывала о моей работе в школе взрослых. Помню, ему особенно понравилось, что в своей педагогической работе я не ограничивалась только преподаванием по программе, а старалась, как и чем могла, вытащить своих учениц-домохозяек из узкого мирка корыта и печки.

Петя внимательно и с интересом слушал, как я воспользовалась помощью библиотеки имени Некрасова, провела целый ряд экскурсий, наладила в школе еженедельные доклады на международные темы, как много помогла мне передвижная библиотека. Мои домохозяйки понемногу приучались к чтению.

С удовольствием я рассказала брату о тех моих ученицах, которые пошли учиться дальше или поступили работать на производственные предприятия.

Брат рассказывал мне о своих делах, о Судже. Говорил о работе над воспоминаниями, вспоминал о встрече с Алексеем Максимовичем Горьким в 1934 году, о том, как Алексей Максимович дружески убеждал его писать, повторял: «Пишите, обязательно пишите, Петр Андреевич, ваша жизнь значительна, ее надо рассказать людям, а перо у вас хорошее». Горького брат горячо любил и никогда не мог говорить о нем без волнения. Он был очень доволен, что когда-то данное им Алексею Максимовичу обещание он, наконец, выполнил: в Курске вышли его «Воспоминания».

Мы беседовали, а около нас играли дети Лели. Я смотрела на ласкающегося к дедушке двухлетнего Петю Заломова (теперь он студент Московского энергетического института), и мне вспоминалось, как в 1938 году, после похорон мамы, мы с братом вот так же заезжали к Леле и брат увидел в первый раз этого мальчика, своего младшего внука, которого Леля назвала в честь отца Петром и дала ему свою девичью фамилию. Оба мы с братом склонялись тогда над кроваткой малыша. На нас смотрела смешная рожица с темным коком волос, маленький Петр Заломов улыбался, и на его щечках появлялись ямочки... Он и сей-

час был чудесным ребенком, и я видела — брат очень доволен своим внуком.

На прощанье Петя расцеловал меня, сказал мне, что я «молодец», и пожелал всяческих успехов в моей работе с женщинами-домохозяйками.

Снова соединила меня с братом Великая Отечественная война. Встретились мы в Горьком, в квартирке мамы, куда Петр с Жозефиной Эдуардовной приехал во время войны из Суджи, а я из осажденного Ленинграда. В Ленинграде я только что похоронила Леню, мужа, умершего как тысячи других ленинградцев. А по дороге в Горький, в Орехово-Зуеве, я похоронила и не доехавшего до Горького нашего младшего брата Александра. В квартире мамы, кроме семьи брата и меня, жили и две старшие наши сестры — Саша и Лиза.

Петр сильно постарел, но был все так же бодр духом, как и раньше. И глаза были прежними — живыми и молодыми. Но борода стала уже совсем белой, и ходить он стал медленно и всегда с палкой в руках.

Он сильно горевал, что не может с оружием в руках защищать Родину, что не может работать на производстве, готовя оружие для Советской Армии. Его натура борца требовала действия. У него оставалось еще горячее слово старого революционера, большевика-подпольщика, и он продолжал им служить своему народу.

За ним часто приезжала машина и увозила его. Он много выступал в это время. Постоянно бывал в госпиталях у раненых бойцов, выступал он и по радио, не раз ездил и на Сормовский завод.

В эти годы он вел большую переписку — я часто заставала его за письменным столом. Часть из этой переписки я встретила потом на страницах газет.

Нередко на квартиру к нам приходили с целью повидать Петра, пригласить его выступить различные делегации. Приходили бойцы Советской Армии, посланцы горьковских заводов, городской молодежи — комсомольцев и пионеров.

Помню пришедшую как-то летом группу детей-дошкольников из соседнего детсада. Петру пришлось выйти во двор — комната не вместила бы всех малень-

ких гостей. Брат сел на скамейку под деревом, дети окружили его, и они долго беседовали — брат умел хорошо и просто говорить с малышами. Ребята брали его за руки, гладили белую бороду, внимательно слушали «дедушку». Обе стороны расстались, кажется, очень довольные друг другом.

Я покинула Горький в апреле 1947 года — вернулась обратно в Ленинград. В это же время вернулся туда и мой младший сын, демобилизованный моряк. Мы получили обратно нашу прежнюю квартиру и после восьмилетнего перерыва снова зажили вместе. Костя быстро устроился работать, на мою долю пришлось домашнее устройство — в квартире ничего не осталось, кроме голых стен. Устраиваясь, я случайно нашла в подвале нашего дома свой старый чемодан с книгами, а среди них — свои записки, сделанные в дни блокады. Перечла их, раздумалась, сходила в музей «Обороны Ленинграда» — все пережитое, как живое, встало передо мной... Захотелось написать о жизни осажденного Ленинграда, и в свободное время я потихоньку начала писать.

В конце июня 1949 года я снова ненадолго приехала в Горький. Из впечатлений тех дней особенно глубоко и живо запомнилось одно — совместная поездка с братом, Жозефиной Эдуардовной и Галей 30 июня в Сормово, на завод. Проводилась учительская экскурсия, к которой мы примкнули. День был ясный, солнечный. К Петиному подъезду подали машину, и мы поехали.

Петя очень любил свой родной город и Красное Сормово. И хотя он молчал, я видела, как волнует его поездка. Обо мне и говорить нечего: встречи с Сормовом всегда волновали меня.

Заводского двора Красного Сормова я не узнала — так он изменился. Где были кучи железного лома, теперь зеленели молодые деревца, пестрели цветы и газоны. Пролеты между цехами были залиты асфальтом.

Мы прошли к берегу Волги, к судостроительным цехам. То, что я увидела, поразило меня.

Будущие суда стояли перед нами, словно разрезанные на куски — там нос, там кормовая часть, там

середина корпуса, — стояли под крышей цеха. Мы видели последнее слово советского судостроения — строительство судов секционным способом.

В одном из цехов мы с братом с удовольствием наблюдали за работой двух молоденьких девушек-сварщиц. Они были заняты сваркой длинных листов железа, которые непрерывно подавал кран. Дело в их руках спорилось весело и ловко.

Мне очень хотелось побывать в паровозо-механическом цехе, где когда-то, перед сормовской демонстрацией 1902 года, работал брат: Петя обещал показать мне свое рабочее место. Но сделать это не удалось. Ходьба, жаркий день скоро утомили брата. Мы с ним остались на берегу, нашли бревнышко и присели.

Перед нами кипела работа по отделке трех буксиров. Их готовили к спуску на воду в день столетия Сормовского завода. Помню, одному из них намечено было присвоить имя героя-краснодонца Сергея Тюленина.

До юбилея оставалось всего две недели, и — казалось нам — закончить суда в такой короткий срок было просто невозможно. Петя задал соответствующий вопрос проходившему мимо молодому мастеру, и он в ответ на пытливую настойчивость брата коротко и просто подтвердил, что все так и будет, как мы уже слышали: строящиеся перед нашими глазами буксиры будут спущены на воду в совершенно готовом виде в день столетия завода.

После я узнала, что так оно и было. Буксиры были спущены на воду в торжественной обстановке и в знаменательный день столетия одного из старейших русских заводов начали свою службу советскому трудовому народу, чьими руками они были созданы.

Уехали мы с завода вдвоем с братом, — Жозефина Эдуардовна с Галей еще ходили по цехам. Брат молчал, молчала и я. Перебирала в памяти виденное, сожалела, что уезжаю, что не придется мне присутствовать на торжествах завода, на этом большом рабочем празднике, празднике всей большой сормовской пролетарской семьи. Я знала: со всех сторон страны съедутся сормовичи, многие мои старые знакомые. Сколь-

ко встреч могло бы произойти, сколько дорогих лиц я снова увидела бы... Конечно, я не знала тогда, что в день столетия Сормовского завода грудь сидевшего тогда рядом со мной в машине Петра украсится самым почетным орденом нашей страны — орденом Ленина.

Машина несла нас знакомыми местами, мимо новых зданий заводских корпусов на месте бывшего поля между Сормовом и Канавином. Родной рабочий город, раскинувшийся вокруг, по-рабочему шумел, дымился серыми облачками заводского пара... Мы ехали быстро, и еще быстрее проносились в памяти дорогие и близкие лица, лица друзей и товарищей по работе в Нижнем, Сормове. В памяти вставала вся наша большая, дружная семья, отдававшая всю силу и энергию борьбе против самодержавия и капитализма, — рабочие и интеллигенты, старшее поколение революции, поколение подпольщиков, собиравшее и выращивавшее новые поколения бойцов. Многих уже не стало, но работа их не прошла бесследно. Это я видела вокруг себя.

ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА ГАРИНОВА *

Елизавета Андреевна Гаринова стала членом нашей марксистской рабочей организации еще с 1897 года, то-есть одновременно со своим мужем, рабочим Григорием Ивановичем Гариновым (прототип горьковского Рыбина из повести «Мать»). В квартире моей двоюродной сестры, Анны Михайловны Весовщиковой, у нас осенью 1897 года происходили собрания рабочих, на которых присутствовали Зинаида Павловна и Софья Павловна Невзоровы, члены первого петербургского кружка Владимира Ильича Ленина, от которых мы, рабочие, и восприняли идеи Маркса—Энгельса—Ленина.

После Петропавловской крепости курсистки сестры Невзоровы были высланы из Петербурга в Нижний Новгород под надзор полиции.

---

* Из справки, написанной П. А. Заломовым в августе 1939 года. Заголовок дан редактором. Елизавета Андреевна Гаринова — старшая (род. в 1869 г.) из сестер Петра Андреевича.

За сестрами Невзоровыми следили сыщики, и на Елизавету Андреевну Гаринову и на моего дядю, Якова Кирилловича Гаврюшова, была возложена задача хранения нашей нелегальной литературы и охрана наших собраний от внезапного налета сыщиков и жандармов.

Два раза Елизавета Андреевна Гаринова спасала нашу организацию от поголовного ареста, причем ей в этом оказывал содействие и мой дядя, сапожник Яков Кириллович Гаврюшов, брат моей матери.

Елизавета Андреевна прятала нелегальную литературу и в Сормове, куда с завода Доброва и Набгольц перешел ее муж, а осенью 1899 года и я, после своего увольнения из Пермских железнодорожных мастерских.

В Сормове Елизавета Андреевна также охраняла наши собрания, прятала нелегальную литературу, предупреждала о готовящихся обысках, чем неоднократно спасала нашу сормовскую рабочую марксистскую организацию от разгрома.

Знакомый извозчик, который всегда привозил прокурора и жандармов из Канавина в Сормово на обыски, присылал своего сынишку, который прибегал к Елизавете Андреевне и передавал ей слова своего отца: «Сегодня привез гостей».

От сыщиков и провокаторов прокурор получал точные сведения о лицах, у которых хранится нелегальная литература, но всякий раз его ожидания были обмануты, и он уходил от нас с плохо скрытой яростью.

После моего ареста ротой солдат, на первомайской политической рабочей демонстрации 1 мая 1902 года, моя сестра Елизавета Андреевна Гаринова продолжала свою революционную работу. Так, во время сормовского вооруженного восстания 1905 года она переносила в корзинке револьверы, прикрыв их сверху картошкой.

Без шума, без громких фраз моя сестра годами работала для победы социалистической революции, но она настолько скромна, что совершенно не ценит своей революционной работы, не признает своих революционных заслуг и неизменно всем говорит, что она делала только то, что ей велели.

ПРИЛОЖЕНИЯ

МАТЕРИАЛЫ О П. А. ЗАЛОМОВЕ

ЛЕНИНСКАЯ „ИСКРА" О РАБОЧЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ 1 МАЯ 1902 ГОДА В СОРМОВЕ И ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ НАД ЕЕ УЧАСТНИКАМИ

«Искра» № 21, 1 июня 1902 года
Раздел «Из нашей общественной жизни»

Нижегородский комитет сообщает следующие сведения о майской демонстрации в Сормове:

«Товарищи! Все только и говорят о том, что произошло в Сормове 1 Мая. Что же произошло там? Дадим себе отчет в случившемся и постараемся извлечь из него урок на будущее время. Много недовольства накопилось в душе рабочих, и не раз это недовольство прорывалось наружу в беспорядках и разгромах. И на этот раз дело не обошлось без разгрома. В пять часов вечера толпа рабочих направилась к заводской конторе и уничтожила там разные бумаги. То же произошло и в канцелярии пристава. Но вскоре на место происшествия явилась толпа сознательных рабочих. «Что вы делаете? — говорили они.— Разгромом заводской конторы мы не добьемся ничего. Мы должны другими путями добиваться уничтожения теперешнего несправедливого порядка». Толпа послу-

шалась увещаний. После этого, сплотившись толпой, сознательные товарищи направились по Большой улице с пением революционных песен и с красными знаменами, на которых были выставлены требования рабочих: «Долой самодержавие!», «Да здравствует политическая свобода!», «Да здравствует 8-часовой рабочий день!»

Народ сплошной толпой стоял по обе стороны улицы. Вид демонстрации так действовал на нее, что некоторые, слыша стройное пение, не могли удержаться от слез. Были вызваны солдаты. Демонстранты вплотную подошли к ним и затем, повернувшись назад, продолжали свое шествие. Солдаты бросились за ними и начали разгонять толпу прикладами. Безоружные рабочие должны были уступить. Только один товарищ остался до конца, не выпуская из рук знамени. «Я не трус и не побегу!» — крикнул он, высоко поднимая знамя, и все могли прочесть на нем грозные слова: «Долой самодержавие! Да здравствует политическая свобода!»

Товарищи! Кто из вас не преклонится перед мужеством этого человека, который один, не боясь солдатских штыков, твердо остался на своем посту! Мы никогда не забудем его примера, товарищи! И пусть все твердо запомнят те слова, что стояли на знамени. Пример его возбудит в нас горячее, неудержимое желание до конца бороться за свободу. Выставим вновь наши требования и пропоем свои песни о свободе, и мы твердо верим, что к будущей демонстрации присоединится большая часть рабочих. Итак, будем бороться до конца!

А пока предлагаем вам, товарищи, делать сборы в пользу арестованных, пострадавших за наше общее дело.

Нижегородский Комитет
Соц.-Демокр. Рабочей Партии»

В самом Нижнем были две попытки устроить демонстрацию, обе неудачны.

«Искра» № 27, 1 ноября 1902 года

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

В отдельной брошюре мы поместили обвинительные акты по политическим процессам о демонстрациях 1 Мая в Нижнем Новгороде и Саратове. Как оказывается, третий такой же процесс возбужден против 14 рабочих Сормовского завода (Нижегородской губернии), участвовавших в демонстрации в день 1 Мая в Сормове. Сормовский и нижегородский процессы назначены к слушанию в конце октября. Саратовский уже назначался к слушанию, но был отложен.

Возобновление судебных процессов против участников политических демонстраций свидетельствует о крайнем озлоблении царского правительства. После бессмысленной попытки подавить проявления революции полицейскими розгами оно схватилось за старое орудие — подтасованный суд. Мы уверены, что наши товарищи с честью выдержат новое испытание их политической зрелости и используют в интересах партии процедуру судебного процесса.

Не имея возможности привести целиком обвинительный акт по сормовскому делу, мы ограничимся наиболее характерными моментами.

[Далее «Искра» излагает обвинительный акт по делу «о крестьянине слободы Кошелёвки Ельнинской волости Нижегородского уезда П. А. Заломове, 25 лет, мещанах г. Лукоянова А. И. Быкове, 22 лет, и М. И. Быкове, 24 лет..., крестьянине села Сормово Балахнинского уезда П. Д. Дружкине, 26 лет, крестьянине Н.-Сергинской волости Красноуфимского уезда Пермской губ. Н. В. Фролове, 28 лет..., крестьянине с. Сормово Балахнинского уезда А. П. Ляпине (Буренкине), 26 лет, горнозаводском мастеровом с. Выксы Ардатовского уезда М. И. Самылине, 24 лет» и семерых других, «обвиняемых в преступлении, предусмотренном 252 ст. Уложения о наказаниях»] *.

* Здесь и в письмах П. А. Заломова взятое в квадратные скобки введено редактором.

Заключение обвинительного акта гласит:

Такие-то подсудимые, «на основании всего вышеизложенного... обвиняются в том, что 1 мая 1902 года в с. Сормове Балахнинского уезда, с целью дерзостного порицания самодержавной власти и установленного законами образа правления, учинили шествие по Большой и Александро-Невской улицам с пением революционных песен, выкинув красные флаги, на одном из которых имелась надпись: «Долой самодержавие! Да здравствует политическая свобода!», и дозволили себе, как во время этого шествия, так и при совершении насильственных действий у Сормовского завода, неоднократно кричать: «Долой царя! Долой самодержавие! Да здравствует политическая свобода!», то-есть в преступлении, предусмотренном 1 и 2 ч. 252 ст(атьи) Улож(ения) о нак(азаниях). Вследствие сего и согласно 2 п. 1030 ст(атьи) Уст(ава) уг(оловного) суд(опроизводства) все вышепоименованные лица подлежат суду Моск(овской) Судебной палаты с участием сословных представителей.

Сентября 12 дня 1902 года
город Москва

Тов(арищ) прок(урора)
Судебной палаты
П. Курлов»

«Искра» № 29, 1 декабря 1902 года

ИЗ СТАТЬИ „НОВЫЕ СОБЫТИЯ И СТАРЫЕ ВОПРОСЫ" *

Наряду с ростовской битвой выдвигаются на первый план из политических фактов последнего времени каторжные приговоры над демонстрантами. Правительство решило запугивать всячески, начиная от розги и кончая каторгой. И какой замечательный ответ дали ему рабочие, речи которых на суде мы приводим ниже, — как поучителен этот ответ для всех тех, кто особенно шумел по поводу обескураживающего действия демонстраций не в целях поощре-

* Статья принадлежит В. И. Ленину. Соч., т. 6, стр. 251—252.

ния к дальнейшей работе на том же пути, а в целях проповеди пресловутого индивидуального отпора! Эти речи — превосходный, от самих глубин пролетариата исходящий комментарий к событиям вроде ростовских и, вместе с тем, замечательное заявление («публичное доказательство», сказал бы я, если бы это не был специфический полицейский термин), вносящее бездну бодрости в длинную и трудную работу над «действительными» шагами движения. Замечательно в этих речах простое, доподлинно-точное изображение того, как совершается переход от самых повседневных, *десятками и сотнями миллионов* повторяющихся фактов «угнетения, нищеты, рабства, унижения, эксплуатации» рабочих в современном обществе к пробуждению их сознания, к росту их «возмущения», к революционному проявлению этого возмущения (я поставил в кавычки те выражения, которые мне *пришлось* употребить для характеристики речей нижегородских рабочих, ибо это — те самые знаменитые слова Маркса из последних страниц первого тома «Капитала», которые вызвали со стороны «критиков», оппортунистов, ревизионистов и т. п. столько шумных и неудачных попыток опровержения и изобличения соц.-дем. в том, что они говорят неправду).

Именно потому, что говорили эти речи простые рабочие, вовсе не передовые по степени их развития, говорили даже не в качестве членов какой-либо организации, а в качестве людей толпы, именно потому, что напирали они не на их личные убеждения, а на факты из жизни каждого пролетария или полупролетария в России — такое ободряющее впечатление производят их выводы: «вот почему мы сознательно шли на демонстрацию против самодержавного правительства». Обыденность и «массовидность» тех фактов, из которых они делали этот вывод, ручается за то, что к этому выводу могут придти и неизбежно придут тысячи, десятки и сотни тысяч, если мы сумеем продолжить, расширить и укрепить систематическое, принципиально-выдержанное и всестороннее революционное (социал-демократическое) воздействие на них. Мы готовы идти на каторгу за борьбу про-

тив политического и экономического рабства, раз мы почувствовали дуновение свободы,— говорили четверо нижегородских рабочих. Мы готовы идти на смерть — как бы вторили им тысячи в Ростове, отвоевывая себе на несколько дней свободу политических сходок, отбивая целый ряд военных атак на безоружную толпу.

Сим победиши — остается нам сказать по адресу тех, кто имеет глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать.

Тот же № «Искры» (29)

НИЖЕГОРОДСКИЕ РАБОЧИЕ НА СУДЕ

Перепечатываем речи нижегородских рабочих * с литографированного листка, изданного Нижегородским комитетом Российской социал-демократической рабочей партии. Прибавлять что-либо к этим речам — значит лишь ослаблять впечатление, производимое этим бесхитростным рассказом о бедствиях рабочих и о росте среди них возмущения и готовности к борьбе. Наш долг теперь — приложить все усилия, чтобы эти речи были прочтены десятками тысяч русских рабочих. Пример Заломова, Быкова, Самылина, Михайлова и их товарищей, геройски поддержавших на суде боевой клич: «Долой самодержавие»!», воодушевит весь рабочий класс России для такой же геройской, решительной борьбы за свободу всего народа, за свободу неуклонного рабочего движения к светлому социалистическому будущему.

РЕЧЬ СОРМОВСКОГО РАБОЧЕГО ЗАЛОМОВА

Я сознательно примкнул к демонстрантам, но виновным себя не признаю, потому что считал себя вправе участвовать в демонстрации, посредством которой был выражен протест против тех законов, которые, защищая интересы привилегированного класса

* «Искра» опубликовала в номере речи Заломова, Быкова, Самылина и Михайлова. Затем весь этот материал был выпущен редакцией «Искры» отдельным изданием.

богачей, не дают рабочим возможности улучшать условия своей жизни. А условия эти настолько ненормальны, что рабочие принуждены во что бы то ни стало бороться с препятствиями, стоящими на их пути, хотя бы эта борьба и была сопряжена с потерей свободы и даже жизни. Я с раннего детства чувствовал непосильную тяжесть, взваленную на трудящийся класс. Благодаря преждевременной смерти отца, потратившего все свои силы на непосильную работу, нашему семейству пришлось вести полуголодное существование. Впоследствии я сам стал рабочим, сам стал затрачивать свои силы и здоровье, содействуя этим накоплению богатств в руках немногих людей. Я видел, что и членам моего семейства, если бы я пожелал иметь таковое, грозит та же участь, что и мне. Отсутствие всякого света и понимания действительности, осуждающее рабочих на вечное рабство, невозможность для рабочих не только жить, но и мечтать о культурной жизни,— весь этот заколдованный круг, из которого я не видел выхода, приводил меня в отчаяние. Бессмысленность подобной жизни заставляла меня страстно мечтать о самоубийстве, как о единственно возможном выходе из невозможного положения. Но знакомство с историей других народов, трудящиеся классы которых благодаря неустанной борьбе выбились из положения, одинакового с нашим, привело меня к мысли, что такая борьба возможна и у нас. Возможность хотя бы в отдаленном будущем поднять экономический и нравственный уровень трудящейся темной массы дала мне богатый запас жизненных сил. Я видел, что тяжела будет борьба для рабочих, трудно бороться с беспросветным мраком невежества, в котором насильственно держат рабочих и крестьян, что много, много будет жертв с нашей стороны. Но какой человек, у которого не вставлен в грудь камень вместо сердца, которого не удовлетворяет чисто животная жизнь, за дело своего народа не отдаст свободы, жизни и личного счастья! Из личного опыта, вынесенного за десять лет жизни по заводам, я пришел к заключению, что рабочий единичными усилиями не в состоянии до-

биться нормальных условий жизни, эксплуатация принуждает его довольствоваться положением вьючного животного. Многие думают, что благодаря задельным работам рабочие имеют возможность при старании заработать больше. Действительно, рабочий может усиленно работать, но это ведет лишь к преждевременному истощению сил, потому что невозможно до бесконечности усиливать напряженность труда, а удержать на известной высоте заработок возможно только при этом условии, так как больший заработок, вызванный усиленным трудом, ведет к сбавке расценков, сбавлять же расценки никогда не устанут. Дело сводится к тому, что рабочие благодаря задельной плате и сбавкам расценков лишаются последнего отдыха, будучи принуждены работать по ночам и по праздникам, сверх обычной дневной работы, не имея в то же время возможности при самом непосильном труде заработать средства, необходимые хотя бы для сносной жизни. Точно так же не может рабочий единичными усилиями поднять уровень расценков и заработка до высоты, необходимой для удовлетворения настоятельных потребностей. А потребности эти все увеличиваются, так как просвещение хотя и медленно, но все же проникает в народные массы. Рабочие всеми силами стремятся дать своим детям образование. Народные библиотеки могут доказать, насколько сильна жажда знаний среди рабочих. Во многих библиотеках, несмотря на то, что большинство полезных книг запрещено, число подписчиков превышает число книг. Рабочих не удовлетворяют грязные, засаленные тряпки, заменяющие им одежду. Насколько сильно у рабочих желание прилично одеваться, видно из того, что многие отказывают себе даже в пище ради приличного платья. Разумеется, не ради своего удовольствия рабочие ютятся и в каморках, не удовлетворяющих самым примитивным требованиям гигиены. Понимают также рабочие, что питательная пища и более продолжительный отдых лучше восстанавливают затраченные на тяжелый труд силы. Вообще рабочие нуждаются в культурных условиях жизни, и не видеть этого

могут только люди, нарочно закрывающие глаза. Несоответствие условий, в которых приходится жить рабочим, с запросами, предъявляемыми к жизни, заставляет их сильно страдать и искать выхода из ненормального положения, в котором они находятся благодаря несовершенству существующего порядка. На гуманность предпринимателей рассчитывать нельзя, так как они, признавая сами себя людьми, на рабочего смотрят не как на человека, а как на орудие, необходимое для личного обогащения, и чем короче срок, в который можно выжать все соки из рабочего, тем для них выгоднее. Для более успешной эксплуатации труда рабочих предприниматели соединяются в акционерные общества. Для того чтобы удержать на желательной высоте цены на продукты, производимые трудом рабочих, но принадлежащие предпринимателям, образуются союзы и синдикаты, например союзы сахарозаводчиков и нефтепромышленников. Для этой же цели предприниматели добиваются и запретительных пошлин на ввозимые в Россию более доброкачественные и дешевые иностранные товары. Отдельный рабочий, защищаясь от эксплуатации, не может оказать предпринимателям большего сопротивления, чем кусок свинца давлению гидравлического пресса. Отдельный рабочий не может не соглашаться на условия труда, предлагаемые предпринимателем, так как без работы он существовать не может. И даже соединенными силами, при отсутствии благоприятных условий, рабочие не могут противостоять предпринимателю, которому от временной приостановки производства не грозит голод, как рабочим. Рабочие не могут добиться участия в прибылях, получаемых от их труда, не соединившись все вместе в один братский союз. Но и этого единственного выхода они лишены, так как закон, разрешая предпринимателям эксплуатировать рабочих, запрещает последним защищаться от эксплуатации, преследуя союзы и стачки. Чтобы добиться более культурных условий жизни, рабочим необходимо иметь право устраивать стачки против предпринимателей, иметь право организовать союзы, иметь право сво-

бодно печатать и говорить на сходках о своих нуждах и, наконец, через своих выборных принимать участие в законодательстве, так как всякая победа рабочих над предпринимателями может быть прочной лишь после ее узаконения. В силу всех вышеизложенных причин, считая рабочих вправе добиваться за свой труд лучших условий жизни, я сознательно примкнул к демонстрантам. Узнав о предполагаемой демонстрации, я решил принять в ней участие и сделал знамена с надписями: «Да здравствует социал-демократия!» на одном, «Да здравствует 8-часовой рабочий день!» на другом и «Долой самодержавие!», «Да здравствует политическая свобода!» на третьем. Знамена, с которыми я пошел на демонстрацию, оказались очень кстати, так как у демонстрантов таковых не имелось и они выражали свой протест лишь криками «Долой самодержавие!», «Да здравствует политическая свобода!» и пением революционных песен. Я знал, что за участие в демонстрации грозит каторга. Наказание страшное, в моих глазах хуже смерти, так как человеческая личность там совершенно уничтожается и бесчеловечно унижается на каждом шагу. Но надежда на то, что, жертвуя собой, принесешь хоть микроскопическую пользу своим братьям, дает полнейшее удовлетворение за все страдания, которые пришлось и придется перенести. Личное несчастье, как капля в море, тонет в великом горе народном, за желание помочь которому можно отдать всю душу. Мелкими протестами рабочим до сих пор не удалось добиться чего-нибудь существенного, начальство и общество сквозь пальцы смотрят на злоупотребления и на явное нарушение законов со стороны предпринимателей. Следовательно, требуется что-нибудь из ряда вон выходящее, чтобы обратить внимание общества на ненормальное положение рабочих и на игнорирование их интересов правительством. Рабочие, создавая богатство и защищая своей грудью общество от внешних врагов, все свои силы отдают государству, но им не дано никаких прав, так что всякий обладающий капиталом и покладистой совестью может обратить человека, не имеющего воз-

можности жить без работы, в рабство. Я видел, что существующий порядок выгоден лишь для меньшинства, для господствующего правящего класса; что пока самодержавие не будет заменено политической свободой, дальнейшее культурное развитие русского народа невозможно; что рабочие в борьбе с предпринимателями на каждом шагу наталкиваются на их союзников в лице самодержавных порядков; что самодержавие является врагом русского народа. И вот почему я написал на своем знамени: «Долой самодержавие и да здравствует политическая свобода!»

Тот же № «Искры» (29)
Раздел «Из нашей общественной жизни»

Нижний Новгород... Сообщу прежде всего окончательную судьбу здешних судебных процессов: по сормовскому делу шесть человек лишены всех прав состояния и ссылаются пожизненно на поселение в отдаленные места Сибири: Заломов, Самылин, Алексей Быков, Дружкин, Ляпин, Фролов. Остальные семь оправданы.

По нижегородскому делу двое — Кислова и Георгиевский — оправданы; двое — Моисеев и Лубоцкий — лишены всех прав состояния и ссылаются пожизненно на поселение в отдаленные места Сибири; остальные пять — Доброхотова, Синева, Ленивова, Михайлов, Дертев — с лишением всех прав в не столь отдаленные места. Михайлову всего 21 год, Лубоцкому — 16.

Все обвиняемые держались, как говорят, геройски, не только не отрицая своего участия, но говорили речи, в которых открыто признавали себя революционерами, и говорили, что таковыми всегда останутся. Особенное впечатление произвели речи Заломова, Самылина и Моисеева. Они, да и все остальные, говорили, каким путем пришли к своим убеждениям.

Все держались на общей почве; во втором процессе почти ничего не говорили о самом факте 5 мая. Защитникам мало что оставалось говорить; некоторые даже жаловались, что обвиняемые так хорошо говорили, что трудно сказать лучше, да и опасно говорить

лучше: самим можно попасть на скамью подсудимых, хуже же говорить было бы стыдно.

Главная роль защитников состояла в поддевании и уничтожении свидетелей. Надо им отдать справедливость, делали они это артистически.

Теперь по городу масса анекдотов. Например, спрашивают одного свидетеля, повидимому сыщика. Он отвечает на все вопросы все как следует, кончает, и председатель спрашивает: «Можете еще что-нибудь сказать, свидетель?», и свидетель отвечает: «Нет, больше начальство не приказало».

Поддели здорово также директора Сормовских заводов. Он хвастался, как хорошо живется рабочим, завод устроил больницу, школу. На одну школу тратится 3 тысячи рублей в год. Защитник спрашивает: правда ли, что с жалованья рабочих берется определенный процент? Директор успокаивает, что процент невелик, всего копейка с рубля, жалованья же рабочим в месяц выдается очень много, с лишком 30 тысяч. «Так вы думаете, что завод на свои средства содержит школу?» — спрашивает защитник...

Обвинены все по 252-й статье, только со смягчением на 2-й степени.

Говорят, речь прокурора была очень коротка и странна: во втором процессе он сказал, что обвиняемые столько насказали о себе, настолько себя обвинили, что ему нечего прибавить. Насколько свободно давали высказываться обвиняемым, показывает тот факт, что Моисеев кончил свою речь словами: «Долой самодержавие!»...

«Искра» № 35, 1 марта 1903 года

ИЗ-ЗА РЕШЕТКИ *

От редакции. Печатаем письмо одного из осужденных в Нижнем Новгороде рабочих-демонстрантов. Мы не решаемся назвать его имя, чтобы не подвергнуть опасности новых репрессалий со стороны врагов, во власти которых находится ныне наш

* Заголовок дан редакцией «Искры». Текст представляет собой письмо П. А. Заломова Нижегородскому комитету РСДРП.

самоотверженный товарищ. Близкие друзья, без сомнения, и без подписи узнают светлую личность писавшего. Для тех же, кто не знал автора лично, печатаемое здесь письмо явится завещанием всех тех, кто вместе с ним вырван из наших рядов, кто с такой же смелостью и беззаветностью продолжал на скамье подсудимых бороться за дело социал-демократии.

Мы хотели бы сказать несколько слов по поводу взглядов автора на роль подсудимых в политическом процессе. Теперь, когда правительство начало менять свою тактику в политических делах и судебное разбирательство может предстоять каждому социалисту, весьма важно наметить правильную тактику, которой должны держаться на суде революционеры.

Протест против всякого чиновничьего суда должен быть заявлен нами в каждом отдельном случае — в этом автор прав. Но такой протест не требует «отказа от всякой защиты» и тем более от произнесения речей на суде. Наше участие в суде есть продолжение нашей борьбы на воле, и как в этой борьбе мы не ограничиваемся тем, что *протестуем,* но и *разоблачаем* в подробностях политику нашего врага и *агитируем* против него и в пользу наших идей, так и на суде мы должны активно раскрывать всю гниль царского «правосудия» и развивать нашу программу. Вот почему участие в судебном следствии в целях разоблачения приемов жандармского дознания и пользование правом последнего слова — для защиты своих убеждений — представляются важным орудием политической борьбы нашей партии, от употребления которого нам не приходится отказываться. Мы укажем здесь на пример такого политического деятеля, как Желябов. В процессе 1 марта Желябов протестовал против самого суда, но это ему не помешало воспользоваться всеми своими правами для продолжения борьбы и в течение судебного следствия и в защитительной речи. И было бы большим уроном для дела, если бы Воеводин *, Заломов, Самылин и другие осу-

* П. И. Воеводин — один из обвиняемых по делу о политической демонстрации 5 мая 1902 года в Саратове.

жденные сошли со сцены, не сказав своих последних *агитационных* речей. Что касается взгляда тех, которые подчеркивают необходимость «беречь силы для будущего», то само собою разумеется, что руководство *исключительно* одним этим соображением не может быть признано правильным. На суде революционер представляет как-никак перед известной частью общества свою партию и *обязан* выполнить эту роль с достоинством. Но это, конечно, еще не значит, что революционер при всяких условиях должен *итти навстречу* обвинению и собственными признаниями выручать судей из затруднительного положения, в какое они часто попадают благодаря отсутствию материальных улик. А бесцеремонность наших обвинителей такова, что они не отказываются и не будут отказываться от привлечения к суду тех или других лиц на основании одного «внутреннего убеждения». Известно, что в саратовском процессе одна из обвиняемых была осуждена благодаря тому, что заявила о своей солидарности с товарищами, хотя прокурор отказался от тех данных жандармского дознания, которые только имелись против нее. Очевидно, что в подобных случаях следует добиваться (кассацией) оправдания. Там, где можно суд *заставить* оправдать обвиняемого за недостатком улик, это должно быть сделано, ибо мы слишком бедны силами, чтобы отдавать их добровольно во власть врага. Дело такта революционера, дело его революционного чутья — понять, когда чисто юридическая почва самозащиты должна быть покинута...

Мы надеемся, что партия наша займется этим важным вопросом. Пока же пожелаем широкого распространения печатаемому нами письму «Из-за решетки», которое не одного молодого борца заразит своим идеалистическим энтузиазмом.

* * *

«Здравствуйте, товарищи! Шлю вам свой горячий привет и лучшие пожелания. Нас долго занимал во-

прос о кассации. Думали, что кассация необходима, для того чтобы лишний раз показать, что у нас нет законов, что у нас царит произвол и что даже такое высшее судебное учреждение, как сенат, является простым орудием в руках правительства и что он готов каждую минуту в корень нарушить даже те законы, хранителем которых он является. Разбирая полезность кассации с этой стороны, мы упустили из виду, что она может дурно подействовать на малосознательные массы, которые не смогут разобраться в юридических тонкостях и припишут нам желание, которого у нас нет и не было, а именно желание смягчить свою участь. Подобное последствие, как роняющее настроение, созданное демонстрацией, разумеется, для нас страшно нежелательно, и когда мы лучше разобрались в этом вопросе, то решительно отказались от кассации. Подали кассацию только те лица, которые на суде не признали себя сознательными участниками демонстрации. Не знаю, как вы находите мою речь; я, со своей стороны, очень ею недоволен. Она недостаточно продумана и в некоторых местах прямо натянута. Постараюсь объяснить вам, отчего она вышла у меня неудовлетворительной. Надо вам сказать, что я вообще против тактики, которой мы держались на суде, и примкнул к ней чисто из чувства товарищества. Я сначала вдвоем, а потом один против всех, отстаивал совершенно противоположную тактику. Я настаивал на том, что мы должны отказаться от всякой защиты, что должны сами заявить на суде о том, что не признаем над собою никакого суда, что всякий суд над собой признаем насилием, а судей — простым орудием в руках правительства, которое не останавливается ни перед какими средствами, чтобы сломить своих врагов. Я думал раньше и теперь так думаю, что при такой тактике получилось бы более яркое и сильное впечатление от всего нашего процесса. И мой совет товарищам держаться в будущем подобной тактики. Вам, наверное, интересно знать, как пришло большинство осужденных теперь к решению говорить на суде и как бы признать законность суда? У нас было три направления:

первое, которого я придерживаюсь, я уже описал; второе заключалось в том, что мы, дескать, должны беречь свои силы для будущего и сделать все от нас зависящее, чтобы получить более мягкое наказание; третьим было то, которого и держалось на суде большинство осужденных. Споров, и самых оживленных конечно, было масса, так что долго не могли прийти к какому-нибудь определенному решению. Одно время думали, что само собой выйдет так, что мы окажемся без защитников. Как вам уже известно, в самый разгар наших разногласий у нас произошло столкновение с тюремной администрацией, кончившееся голодовкой. Мы отказались тогда не только от пищи, но и от прогулок и от свиданий, а следовательно, связь наша с внешним миром была нарушена. Для подачи заявления о желании иметь защитника нам дали недельный срок, и он мог пройти раньше того времени, когда мы вновь могли бы сноситься с внешним миром. Итак, мы думали, что голодовка затянется и мы не будем иметь возможности снестись с адвокатами и вопрос о защите падет сам собой. Я был отправлен в больницу и попал в тюрьму как раз в последний день срока, в который можно заявить о желании иметь защиту. Прибыв в тюрьму, я узнал, что все уже подали заявления и что, следовательно, в обоих процессах будет защита. Мое предложение было провалено, и я тоже присоединился к остальным. У нас было очень мало времени, для того чтобы как следует обдумать свои речи на суде. Я, например, набросал свою речь в самое последнее время в течение суток. О серьезной ее обработке не могло быть и речи, так как в воскресенье у нас были защитники, с которыми мы провели большую часть дня, а в понедельник нас подняли в четыре часа утра и отвели в суд. Еще одно обстоятельство мне сильно повредило. Защитники уверяли нас, что мы не должны допускать в своих речах никакой резкости и что в противном случае нас совсем могут лишить слова. Разумеется, раз уже мы пригласили защитников и решили говорить на суде, то нам во что бы то ни стало надо было высказаться. Пришлось приспособляться, стараться придать речи

более мягкую форму и в то же время все сказать. А знаете вы басню Крылова, в которой говорится: «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник»? Так и мы до некоторой степени взялись не за свое дело. Где же там у чертей мы привыкли речи говорить, а тут, хочешь не хочешь, пришлось говорить! Мне теперь страшно досадно, что я не смог провести свой взгляд на суд и что не употребил все возможные, находящиеся у меня в руках средства. Ну, да теперь уже поздно, — «снявши голову, по волосам не плачут»! Вот если бы снова пришлось нам судиться! Я думаю, что нашим опытом воспользуются другие, идущие за нами.

Мы теперь вычеркнуты из списка живых и опасаемся, что на менее сознательных рабочих полученное нами наказание произведет дурное впечатление, запугает их до некоторой степени. Я бы дорого дал за то, чтобы опасения эти не оправдались. Там, на воле, все представляется в более ужасном виде. На самом же деле все их наказание — сущие пустяки. Самое большее, что в их власти,— это то, что они могут отнять у нас жизнь. Вот если бы они могли отнять у нас наши убеждения, — это было бы действительно ужасно. У нас против наших врагов имеется сильнейшее оружие — это вера в правоту нашего дела, вера в близкую победу, вера, что на наше место встанут товарищи, более сильные духом, чем мы, вера в то, что с каждым днем число борцов за свободу и справедливость увеличивается и что борцы эти на полдороге не остановятся, доведут свое дело до конца и отдадут всю свою кровь до капли за наше дело. Я скажу вам, что за все время моего сидения в тюрьме ни разу мной не овладевала слабость,— напротив, настроение все время повышенное. Я только жалел, что не получил образования, так как образованный человек может сделать гораздо больше, чем малоразвитый, а я чувствую за собой слабость в этом отношении. Я теперь совершенно убедился, что тюрьма не в состоянии сломить ни энергии, ни силы убеждения; она, напротив, закаляет человека, делает его более непримиримым, и я говорю не по теории,

а сам на себе испытавши все это. Я жалею об одном: что так мало могу дать нашему родному делу — дать только одну жизнь!.. Я бы пошел теперь на муки, на пытки, а мне дали... всего вечную ссылку.

Шлю я всем товарищам свой горячий братский привет. Пусть меня лихом не поминают. Я знаю, что делал много ошибок, знаю, что мной многие были недовольны. Меня можно упрекнуть во многом, но если я и поступал иногда, не согласуясь с мнением своих товарищей, то мной руководило исключительно желание больше сделать для общего великого дела. В этом деле заключается весь смысл, вся цель, все наиболее страстные желания моей жизни.

Да! Я теперь вычеркнут из жизни! Но пока у меня останется хоть капля крови, во мне не умрет неудержимо-страстное стремление к свободе, не умрет твердая вера в нашу неизбежную победу над врагом. Да! Жизнь идет вперед. Она требует все больше и больше самоотверженности и стойкости у борцов за свободу. И мы пойдем ей навстречу, товарищи; мы отдадим ей все наши лучшие силы без остатка. Счастливцы мы, что живем в такое славное время. Нам не приходится искать пути в беспросветном мраке, как приходилось это делать людям, расчищавшим нам путь. Нас не мучают сомнения, то ли дело мы делаем, которое нужно, необходимо для блага народа. Перед нами лежит широкая прямая дорога, в конце которой виден вход в более светлую жизнь. Правда — на этой дороге много препятствий, но мы польем эту дорогу своею кровью и заполним рытвины своими телами, и ничто уже не остановит победного шествия борцов за народное счастье и свободу. Да! Счастливы мы, что не родились сотней лет позднее, что имеем возможность отдать свои слабые силы за дело и счастье всего человечества!

Что еще сказать вам? Я от всей души обнимаю своих товарищей по делу и желаю им больше счастья, больше успеха в их деле. Нравственная связь между нами никогда не порвется, хотя нас будут разделять громадные пространства. Крепко жму руки. Привет вам, смелые сердца!»

П. А. ЗАЛОМОВ ОБ А. М. ГОРЬКОМ

ПИСЬМО П. А. ЗАЛОМОВА ТОВ. М-ВОЙ *

15/II 1928 года [*Суджа*]

Уважаемый товарищ М-ва! Очень рад, что мое письмо Вам пригодилось. Против использования его для Вашей статьи я, конечно, ничего не имею, хотя и не согласен с Вашей оценкой Горького как *буржуазного писателя.*

У меня не было ни времени, ни возможности, ни достаточных знаний и даже не было и охоты, чтобы заниматься изучением художественной литературы, но все же у меня составилось мнение о Горьком как о писателе и человеке, симпатии которого на стороне пролетариата, и мы, рабочие, имевшие с ним какое-либо дело, считаем его своим. Это вовсе не одно мое личное мнение.

Я совершенно незнаком с научными методами и правилами классификации писателей, и мне не так важно, о ком данный писатель пишет, а важно, *как он пишет.* Да, Горький много изображал буржуазию и мещан, но как изображал? Он их бичует, презирает. Я знаком лишь с отдельными произведениями Горького, но ни в коем случае не могу согласиться, что он является *выразителем* мыслей и чувств мещанства. Если бы вы сказали *изобразителем,* тогда другое дело. Ведь выразителем мыслей и чувств того или иного класса может быть лишь тот, в ком эти чувства и мысли выкристаллизировались в превосходнейшей степени.

Я читал пьесу «Мещане». Эта пьеса для мещанства *убийственна.* Нет. Совсем не так будет писать мещанин о мещанах, он будет их идеализировать. Американская буржуазия приходила в восторг от Джона

* Напечатано (без обращения и первого абзаца) в сборнике «М. Горький в Нижнем Новгороде» (Нижний Новгород, 1928). М-ва — студентка второго Московского Государственного университета, которая в 1927 году готовила реферат о повести «Мать» и в связи с этим обратилась к П. А. Заломову с рядом вопросов. Статья М-вой, о которой идет речь в письме, предполагалась к помещению в упомянутом сборнике, но помещена не была.

Рида * до тех пор, пока не поняла, что он является ее смертельным врагом.

Мещане, по понятиям Горького, есть самое гнусное и мерзкое явление. Недаром Горький изображает мещанство в «Песне о Соколе» в виде Ужа, которому нужно лишь одно, *чтобы было тепло и сыро,* который смеется *над полетами в небо,* который не понимает пламенного боевого энтузиазма Сокола — пролетариата, единственного до конца революционного класса. И разве не тот же пролетариат изображен в виде Буревестника, который смеется над бурей, который весь — нетерпеливо-страстное, напряженнейшее ожидание бури?

Тридцать шесть лет назад, когда я начал работать на заводе Курбатова в Нижнем Новгороде, когда вместе с другими товарищами призывал молодых рабочих в подпольную марксистскую организацию для непримиримой борьбы — на жизнь и на смерть — с мировым капитализмом, рабочие-мещане, — а таких было немало, — говорили со злобой и ненавистью: «Политика проклятая! Вешать всех вас надо!»

Горький при первой встрече обнял меня и крепко поцеловал. Потом немного отошел, посмотрел и сказал: «Так вот вы какой!» Я сказал ему, что ничего лучшего, чем «Песня о Соколе», он никогда не напишет и что в бою я загорожу его своей грудью. На это он ответил: «Я тоже загорожу вас своей грудью в бою».

Он, так же как и я, ждал революции, ждал вооруженного восстания.

Так разве же это Уж? Разве это выразитель личного благополучия? Разве это квинтэссенция мещанства?

Самый мощный, самый пламенный, самый гениальный выразитель мыслей и чувств пролетариата, *душа пролетариата* — это Ленин. Но если Горький мало

---

* Джон Рид (1887—1920) — американский журналист, ставший известным своими корреспонденциями с фронтов первой мировой войны. Будучи в 1917 году в России, приветствовал своими книгами Великую Октябрьскую революцию. Умер коммунистом и похоронен у Кремлевской стены на Красной площади в Москве.

знал рабочих и мало о них писал, то это вовсе не основание для того, чтобы включить его в цикл *выразителей* мыслей и чувств мещанства.

Он — наш!

П. Заломов

ИЗ ПИСЬМА П. А. ЗАЛОМОВА А. М. ГОРЬКОМУ

19/I 1936 года [*Суджа*]

Дорогой Алексей Максимович!

По случаю 30-летней годовщины сормовского вооруженного восстания 1905 года меня вызвали в Красное Сормово, где возили на автомобиле выступать перед рабочими, перед военными курсантами, перед 49-м полком в кремле, перед пионерами, перед секретарями заводских комитетов комсомола, перед коллективом артистов, перед коллективом учителей, в Сормовском дворце культуры по докладу писателя Авдеенко о повести А. М. Горького «Мать», на Сормовском заводе в паровозо-механическом цехе, где я когда-то работал, на торжественном заседании 24 декабря 1935 года в Сормовском дворце культуры.

...Я не обманываю себя и прекрасно учитываю, что моя популярность зиждется не столько на моих заслугах перед пролетарской революцией, сколько на том, что я случайно попал в лучи твоей мировой славы, что меня отождествляют с твоим «Павлом Власовым».

Твоя роль в пролетарской революции России, в пролетарской революции всего мира громадна. Мы, все рабочие, крепко тебя любим не только как гения, но и как своего близкого, родного, как товарища по борьбе за высшую человеческую культуру.

Не сердись. Но я почему-то никак не могу писать тебе сегодня на «вы». Да ты ведь и сам разрешил мне 19 июня 34 года говорить тебе «ты».

Вот ты говорил мне, что моя жизнь значительна и что я должен писать свои воспоминания. До тебя мне многие советовали то же, настаивали на том, чтобы я писал свои воспоминания, но я не придавал

этому значения, так как не чувствовал и не чувствую значительности своей жизни.

Моя жизнь кажется мне обычной, нормальной для меня, и другой жизнью я жить бы не мог. Согласись сам, что жить интересно только тогда, когда можно драться за весь мир, как учили нас Маркс и Энгельс, как учил нас Ленин... Вот поэтому-то их имена и звучат для нас, как боевая труба.

Драться за медную пуговицу от штанов скучно и нудно, и нас привлекал и привлекает не твой ползучий шипящий Уж — мещанин, а твой смелый Сокол — пролетариат.

И как хорошо ты сказал: «Безумство храбрых — вот мудрость жизни!»

...Крепко тебя целую!

Твой П. Заломов

[ВСТРЕЧА В КУОККАЛА]*

Я давно полюбил Максима Горького за его честную, пламенную, пролетарскую душу, за то, что он являлся великим пролетарским писателем, за пылающее сердце Данко, за «Песню о Соколе».

Алексей Максимович Горький слышал обо мне еще до сормовской демонстрации 1902 года, хотел со мной познакомиться, но я был на плохом счету у полиции и мог ему повредить; я боялся навлечь на него еще большую ненависть полиции, которая видела в Горьком опаснейшего врага самодержавия.

Когда меня арестовали на сормовской демонстрации 1 мая 1902 года, Горький оказал мне большое внимание. Он ежедневно посылал с моей матерью мне в тюрьму обед и незадолго до суда велел передать всем нам, чтобы мы не пугались царских судей, обещал свою поддержку в ссылке, обещал выслать денег на побег.

Шестеро из нас, сормовцев, были сосланы в Восточную Сибирь навечно, с лишением всех прав состояния.

---

* Из статьи П. А. Заломова в «Литературной газете» № 51, 20 августа 1937 года.

Каждому за первый побег грозило 25 плетей и 6 лет каторги, а за второй — 50 плетей и 12 лет каторги.

Алексей Максимович свое слово сдержал. Он присылал мне в ссылку по 15 рублей в месяц и однажды выслал 300 рублей на побег.

Впервые я встретился с Горьким после побега из ссылки в 1905 году, на его даче в Куоккала.

Чтобы не привести шпиков, я слез с поезда на предпоследней станции и дальше пошел лесом, под дождем. Подойдя к даче, я увидел во дворе высокого, крепкого, сухощавого человека. Он шел мне навстречу. Я вспомнил портрет Алексея Максимовича, узнал его и назвал себя.

Мы, старые рабочие, видевшие начало марксистского движения на фабриках и заводах, были революционными романтиками. «Песня о Соколе» звучала для нас, как боевая труба, вызывала слезы восторга. И вот передо мной стоял автор «Песни о Соколе», передо мной был живой, смелый сокол, буревестник русской революции — Максим Горький. Он обнял меня и крепко поцеловал. Потом посмотрел на меня и сказал: «Так вот вы какой!»

Мы пошли с ним на дачу, в его кабинет во втором этаже, выходивший окнами к морю. Я сказал ему, что люблю «Песню о Соколе» и загорожу его в бою своей грудью. Он ответил: «Я тоже загорожу вас своей грудью в бою».

Весь мокрый, я дрожал от холода. Алексей Максимович распорядился отвести мне комнату, прислал свое белье, ботинки, платье. Но больше всего согрел он меня суровой нежностью, которая излучалась из его прекрасных глаз. Он расспрашивал меня о моей жизни, об отце и матери, о революционной работе, о сормовской демонстрации.

Я сообщал больше сухие факты, мало говорил о своих настроениях, ничего — о своих мечтах. Из ложного стыда я совершенно умолчал о побоях в участке и в башне нижегородской тюрьмы, о своих переживаниях.

Мне и в голову не могла прийти мысль о том, что мои рассказы, моя жизнь послужат канвой для заме-

чательного художественного произведения, которое сыграло большую роль в революционизировании широких рабочих масс.

Алексей Максимович набросал по моим рассказам записки, но их отобрала у него полиция при обыске, и свою повесть «Мать» он написал уже по памяти.

В 1905 году Горький был в центре подготовки вооруженного восстания. Благодаря своему громадному влиянию и своим связям он собирал на революцию сотни тысяч рублей.

ИЗ СТАТЬИ „СУДЖАНСКИЕ ПЛОДОВОДЫ-ОПЫТНИКИ" *

...С некоторыми из плодоводов-опытников Суджанского района Курской области мы хотим познакомить нашу общественность.

Заломов Петр Андреевич (г. Суджа Курской области) — 60 лет. Старый революционер, коммунист, организатор первомайской демонстрации в Сормове в 1902 году (прототип основного героя романа «Мать» — Павла). Бежав из сибирской ссылки, тов. Заломов несколько лет жил на нелегальном положении. С 1912 года ** поселился в Судже и начал заниматься плодоводством. При этом тов. Заломов поставил своей целью — испытать существующий сортимент плодовых растений, в первую очередь новые мичуринские и южные сорта яблонь и груш, чтобы отобрать из большого сортового разнообразия лучшие зимние сорта, которые могли бы произрастать и плодоносить в Курской области.

П. А. Заломов вел переписку с И. В. Мичуриным, получал от него новые селекционные сорта. Он размножал, испытывал и распространял среди местного

---

* Журнал «Плодоовощное хозяйство», 1937 г., № 1, январь. Автор статьи В. К. Заец, работник Орловского плодово-ягодного опорного пункта.

** Неточность автора статьи. Приблизительно к этому времени относится начало занятия П. А. садоводством, в связи с приобретением дома в слободе Гончарной. Поселился же П. А. Заломов в Судже в 1907 году.

населения лучшие мичуринские сорта. Выращенные саженцы мичуринских сортов тов. Заломов бесплатно раздавал садоводам-любителям, беря с них только устное обязательство, что они будут распространять эти сорта.

Вокруг тов. Заломова организовался кружок плодоводов-любителей, среди которых он заслужил репутацию талантливого руководителя.

В своем небольшом приусадебном садике площадью в 0,3 гектара тов. Заломов собрал богатейший сортовой и видовой состав растений со всех концов нашей страны — из Сибири, с Кавказа, из Украины, Крыма и других мест. Имеются лучшие мичуринские сорта «бельфлер-китайка», особенно любимая и распространяемая тов. Заломовым, «кандиль-китайка», «шафран-китайка», «бельфлер красный» и мичуринские груши. Хорошо растут и плодоносят лучшие американские сорта: «принцесса Луиза», «Онтарио», «Феймьюз», «бельфлер американский», «Винтер банана», «Джонатан», «Вагнера призовое» и др. Благодаря хорошему уходу неплохо себя чувствуют и дают прекрасные плоды такие южные сорта груш и яблонь, как «бередиль», «бон кретьен Вильямс», «кандиль-синап», «шампанский ранет», «розмарин белый», «ранет Симиренко» и многие другие.

Кроме того, у тов. Заломова имеются мичуринские сорта винограда, фундуки, грецкие орехи, маньчжурский орех, мичуринские и южные сорта слив и вишен. Каждый клочок земли в саду максимально использован.

Собрано и испытано 116 сортов плодовых и ягодных растений. Благодаря хорошему уходу сад плодоносит ежегодно.

Тов. Заломов ведет и селекционную работу. В прошлом году начали плодоносить новые сорта, выведенные тов. Заломовым, например «ранет Заломова» (название дано нами предварительно). Этот сорт имеет плоды среднего размера, с приятным пряным ароматом. Дерево сильнорослое, мощное, листья круглые, интенсивно окрашенные. Начали плодоносить несколько новых форм крупноплодной «сибирки», среди которых очень

ценными качествами выделяется одна форма, имеющая крупные, до 5—6 сантиметров в диаметре, плоды с очень своеобразным приятным вкусом. Опорный пункт организует изучение этих ценных новых сортов.

П. А. Заломовым ведется большая общественная работа: он воспитал целую группу энтузиастов-плодоводов: М. С. Рыбко, Н. А. Найденко, И. А. Редькин, Т. Н. Самбуров, С. Н. Самбуров, Ф. З. Мартынович; все эти плодоводы-опытники — ученики тов. Заломова, которым он сумел передать свои знания и любовь к плодоводству.

Но П. А. Заломов не только плодовод-опытник, он и конструктор-изобретатель, неутомимый рационализатор. Он сконструировал и сам сделал комнатную плодосушилку на 60 килограммов яблок, машинку для резки яблок, окулировочный нож, механизированный кузнечный горн и особого устройства садовую лестницу...

ИЗ ПЕРЕПИСКИ П. А. ЗАЛОМОВА

ИЗ ПИСЬМА Г. Я. КОЗИНУ

16/IV 1933 года [*Суджа*]

...Мое детище — колхоз — крепнет. На его организацию и укрепление я потратил очень много энергии. Начал вести агитацию за коллективизацию еще с 1926 года. В 1927 году нас, семь человек инициаторов, организовали садово-огородное товарищество, а в 1929 году организовался и наш колхоз, который мы сумели отстоять от развала в 1930 году весной. Стоило нам это напряженнейшей борьбы, но все же 300 дворов осталось в колхозе, а к весне 1931 года вновь влилось 330 хозяйств до весеннего сева.

Я ходил из двора во двор по единоличникам и агитировал, агитировал. Сидел по два-три часа в хате. Приходилось в каждой хате побывать по 2—3 раза, а то и 5—6 раз и даже в некоторых по 8—10 раз. Прихватывал с собой вновь вступивших колхозников, и они учились у меня агитировать за колхоз и сами агитировали, оказывая мне большую помощь.

Молодые коммунисты тоже были увлечены коллективизацией и оказывали мне большую поддержку. Сегодня первый день пасхи, а у нас на конюшне из 150 лошадей ни одной не осталось — все были в поле на севе овса. Яровую пшеницу уже посеяли.

Три дня у нас было оторвано от сева на возку картофеля по самой ужасающей дороге. Возили картофель за 19 верст по непролазной грязи, и приходилось впрягать в каждую телегу по паре коней, а после этого коням давался день отдыха, ехали на свежих, отдохнувших. Картофель надо было перебросить с винзавода на железнодорожную станцию для отправки на Северный Кавказ как семенной материал.

Дисциплина в колхозе крепнет. Сегодня работало 150 женщин по прокладке новой дороги, чего еще в прошлом 1932 году добиться было бы невозможно. В этом году строим коровник на 100 голов, крольчатник на 100 маток, мастерскую, а если хватит средств, то построим еще овчарню и свинарник.

Положение с бюджетом напряженное, а готовых старых построек не имеется, все надо строить заново. В прошлом году закончили конюшню и построили инвентарный сарай. В этом же году проектируем электростанцию, которая будет работать водой (у нас водяную мельницу закрыл Мельтрест). Ночью электростанция будет давать свет, днем — энергию в мастерские.

Единоличников на Гончаровке осталось совсем мало.

ИЗ ПИСЬМА Е. А. ГАРИНОВОЙ

8/II 1939 года [Суджа]

Дорогая Лиза!

Очень благодарен тебе за те сведения, которые ты сообщила о прошлом. Ты не очень сердись, что я тебе докучаю, но мне надо, чтобы ты ответила еще на один вопрос, а именно: когда переехал к нам дедушка Михайла? Сколько было тебе лет, когда он поселился у нас в большом флигеле?

С помощью твоего уже полученного письма я могу проверить и установить точные даты фактов из моего детства, над которым я теперь работаю.

Я получаю письма от школьников, которые, изучая повесть Горького «Мать», интересуются моей жизнью, задают мне различные вопросы.

Несомненно, что эти школьники с интересом прочитают мое «Детство» *, когда я его закончу и когда его напечатают.

Я просто записывал то, что было, но когда прочитал написанное, то мне стало видно, как развивалась моя личность, как складывался, формировался мой характер, и мне стало ясно, что иного пути, чем пройденный мной, у меня не могло быть: сама жизнь толкала меня на определенный путь, который привел меня к борьбе за коммунистическое общество.

Ты когда-то мечтала о том, чтобы из нашей Заломовской семьи вышел хотя бы один замечательный человек, который сделался бы доктором или учителем.

Твои мечты частично осуществились: Варя ** стала теперь учительницей. Чуть-чуть не сделалась доктором моя Галя ***, и сделалась бы, если бы не помешал Коля Чикин, отец моей внучки Юльки.

Твоя племянница Леля Заломова *** окончила Московский университет и теперь преподает в московской школе-десятилетке историю.

Твоя племянница Галя учится теперь *на «хорошо»* и *«отлично»* в Московской промышленной академии и будет инженером.

Я сам в детстве увлекался героическими подвигами сказочных героев и мечтал стать героем сам. Правда, героем я не сделался, но моя жизнь все же не прошла бесполезно и бесследно и послужила прообразом для горьковского Павла Власова.

Несомненно одно, что я тоже *был учителем* и остался им, и останусь до самой смерти, так как и те-

---

* Речь идет об автобиографической повести «Детство Петьки», над которой П. А. Заломов тогда работал (рукопись не опубликоваиа).

** Варвара Аидреевиа, младшая сестра Петра Аидреевича.

*** Галя, Леля — дочери П. А. Заломова.

перь учу молодежь, как надо бороться за коммунистическое общество. Меня слушают, мне верят, потому что свою преданность делу мирового пролетариата я доказал всей своей жизнью, которая приходит теперь к концу.

Мое счастье огромно, потому что я непоколебимо уверен в победе коммунизма на всей земле.

В какой-то пьесе смерть говорит умирающему: «Если прожил честно свой короткий век, будь и тем доволен, бедный человек!»

Свой век я прожил честно, но бедняком себя не считаю. Напротив, я считаю себя самым богатым, самым счастливым человеком на земле, и это счастье я получил только потому, что узнал и понял величайшее учение Маркса — Ленина.

Алексей Максимович Горький заставил меня описывать всю мою жизнь, начиная с детства. Я тогда смеялся. Мне казалось это ненужным, казалось бессмысленным, но теперь я понял, что моя жизнь может научить других тому, как надо жить, и она потому может научить, что я являюсь обыкновенным человеком, каких миллионы, и мое преимущество только в том, что я ясно понял самую суть учения марксизма-ленинизма.

...В моем мозгу иногда проносятся грандиозные картины будущих великих боев за мировую коммуну, и я весь дрожу от восторга: я знаю, что мировая коммуна победит, и это знание дает мне величайшее счастье.

Ты можешь быть довольна тем, что не была простым зрителем нашей борьбы, что ты помогала этой борьбе, а ведь не всякий может это про себя сказать и думать.

...Крепко тебя целую. Привет Пете, Нине, ребятам, Саше и Лене.

Заломов П. А.

ИЗ ПИСЬМА Г. Я. КОЗИНУ

29/VIII 1940 года [*Суджа*]

...Меня дети зовут в Москву, я могу проехать оба конца по орденскому билету бесплатно в любом на-

правлении и на любое расстояние, причем можно делать остановки, можно ехать морем и пересаживаться на железные дороги и обратно.

Такая поездка разрешается один раз в год. У меня есть целая книжечка таких билетов, но нет самого главного — здоровья, и я еще ни разу не использовал своего права на путешествия. Все это пришло ко мне слишком поздно, когда уже все силы вымотаны, когда болезни приковывают к одному месту, когда затруднительно ходить за один километр на почту, и если я все-таки хожу, то это только по предписанию врачей, которые говорят, что мое сердце совсем откажется работать, если я его не буду тренировать.

С памятью у меня дело тоже плохо, что очень сильно тормозит мою работу над своими воспоминаниями, за которые я взялся слишком поздно, да и то только по настоянию Алексея Максимовича Горького.

Как видишь, я накопил денег и купил пишущую машинку *, но моя память не стала от этого лучше и работа стоит мне огромного напряжения, а мне врачи запретили всякую физическую, нервную и умственную нагрузку. Ну что ж! Будем работать по своим силам.

Если бы мне дали возможность заснуть на сто лет и проснуться при полной победе коммунизма во всем мире, то я бы от этого отказался, потому что борьба за коммунизм для нас, старых подпольщиков, ценнее, *чем коммунизм, упавший с неба,* без всяких наших усилий. Несомненно, что будущие поколения будут завидовать нам, что мы имели великое счастье жить в самый напряженный период борьбы за коммунистическое общество.

Мы прекрасно знаем, что самое великое счастье заключается не в том, чтобы как можно больше взять от жизни, а в том, *чтобы как можно больше дать для завоевания коммунистического общества.* Так мыслим, так чувствуем мы, старые коммунисты-подпольщики, а в этом наше самое величайшее счастье, и этого счастья

* Письмо написано на машинке.

не сможет отнять у нас сама смерть, и мы спокойно и твердо идем к своему закату, так как коммунизм в основном уже победил, осталось только его оформление, и нет силы на земле, которая бы смогла повернуть трудящихся нашей планеты вспять.

Только тот может в полной мере наслаждаться настоящим, кто не жалел своих сил и самой жизни в борьбе за это настоящее. И мы оба с тобой можем сказать, что бестрепетно и честно прошли путь от капитализма до социализма и коммунизма, который в настоящее время уже рельефно показывает свои контуры.

...Крепко целую!

Петр Заломов

ИЗ ПИСЬМА Г. Я. КОЗИНУ

5/V 1941 года [*Суджа*]

...Наши настроения созвучны. Как и ты, я не устаю радоваться нашей победе, в борьбу за которую мы с тобой вступили с ранних лет нашей юности, и мы с полным правом можем сказать, что наше дело, дело рабочих и трудящихся крестьян, победило, и нет силы на земле, которая бы смогла повернуть вспять победное шествие к коммунизму.

Очень много тяжелого и тяжкого пришлось мне перенести за социализм и коммунизм, но нет ничего в моей жизни, что я хотел бы из нее вычеркнуть. Даже пыток и истязаний я не хотел бы выбросить из моей жизни, потому что они сделали меня особенно сильным морально, хотя и подорвали мое физическое здоровье.

Теперь я спокойно смотрю в глаза приближающейся смерти. Моя совесть чиста, я сделал для победы коммунизма все, что было в моих силах, и я могу умирать спокойно, без всяких угрызений совести.

Всю свою жизнь целиком я воспринимаю как величайшее счастье именно потому, что нигде не отступил, ни перед чем и ни перед кем не согнулся и сущностью моей жизни была и осталась борьба за коммунизм.

Облсобес меня запрашивает, в каком курорте я нуждаюсь, но я от курортов отказываюсь, так как мне трудно ездить. Да и не все ли равно, в сущности, прожить ли чуть-чуть подольше или чуть-чуть поменьше, когда дело победы коммунизма твердо обеспечено?!

У нас наступила теплая погода, в саду распускаются почки на яблонях и грушах, предвидится урожай фруктов, пенсию я получаю исправно. Чего же еще мне надо? Чем Суджа хуже какого-нибудь Пятигорска? Только невыносимой жары нет, вот и все, это для моего больного сердца только полезно.

Крепко тебя целую! Будь здоров!

Заломов П. А.

ПИСЬМО УЧЕНИКОВ Б.-СОЛДАТЧЕНСКОЙ ШКОЛЫ КРЕСТЬЯНСКОЙ МОЛОДЕЖИ П. А. ЗАЛОМОВУ

Уважаемый тов. Заломов!

Мы, ученики Б.-Солдатченской ШКМ 7-й группы, проработав произведение М. Горького «Мать», узнали, что героем его являетесь Вы, а героиней — Ваша мать. В произведении Вы изображены в лице Павла Власова. Мы узнали, что в настоящее время Вы живы и живете недалеко от нас, поэтому решили написать Вам письмо, где выразить свое мнение о Вас как о политическом работнике-революционере и, кроме того, узнать дальнейшую Вашу жизнь и деятельность после ссылки в Сибирь, куда вы были сосланы за знаменитую речь на суде. Нам очень хочется знать, как и когда Вы вернулись из далекой, холодной Сибири: бежали вы или, может быть, освободил Вас только Красный Октябрь.

Ваша мать как женщина-революционерка произвела на нас необычайно хорошее впечатление. Но и здесь автор точно не указал, что стало с женщиной, разносившей листовки, которые призывали трудящееся население к борьбе и искали правды в народе.

Автор остановился на том, что ее схватили шпионы, здесь наскочила полиция и начала избивать ее, но

не указывает, осталась ли она жива после этого или ее до смерти тогда же убили эти людишки, служившие царскому правительству, как цепная собака своему хозяину. Нам очень хочется знать: пришлось Вам встретиться с нею после этого, или уж больше Вы не встречали ее никогда? Все эти вопросы нас очень занимают, и хочется разрешить их с Вашей помощью.

Дорогой товарищ! Мы, молодое поколение, изучающее теперь революционное движение в России, иногда приходим в ужас от тех условий, в которых приходилось Вам жить и бороться за будущее лучшее социалистическое общество, фундамент которого у нас теперь имеется. Проследив Вашу жизнь по произведению, мы выявили, что Вы были честным, прямым, стойким и мужественным рабочим-революционером, поднявшим первым красное знамя трудового народа в черные годы реакции. Такие люди, как Вы, подготовили Красный Октябрь. Вы прошли от 1905 до 1917 года трудный период борьбы. У нас теперь борьба иная. Мы боремся с классовым врагом, мы боремся с темнотой, отсталостью и некультурностью нашей деревни, мы боремся за темпы, за качество, мы боремся за выполнение пятилетки, мы боремся за построение социализма в нашей стране.

Мы, молодежь, выносим Вам и таким людям, как Вы, благодарность за то, что Вы подготовили для нас новые условия жизни, что Вы подготовили Красный Октябрь, который приведет к победе коммунизма.

Дорогой товарищ, мы Вас убедительно просим ответить на поставленные нами вопросы, если это не тяжело вспоминать.

(30 подписей учащихся)

ИЗ ОТВЕТНОГО ПИСЬМА П. А. ЗАЛОМОВА УЧЕНИКАМ Б.-СОЛДАТЧЕНСКОЙ ШКМ

Дорогие товарищи! Ваше письмо, напитанное ненавистью к классовым врагам, к угнетателям рабочего класса и всего трудового крестьянства, напитанное боевым революционным духом и героической готовностью до конца бороться за дело Октября, наполнило мое старое сердце большой радостью.

Прежде всего отвечаю на ваши вопросы. Произведение Горького не является простым пересказом моей жизни и жизни моей матери, и Горький взял две эти жизни лишь как канву для своего художественного произведения. Действительная жизнь была гораздо более сурова и менее красочна, блестяща. Мы, старые большевики, были опасными противниками самодержавия и капиталистического строя; наша ненависть достигла своего предела, она не могла остынуть, притупиться, а отсюда и наша борьба была и осталась непримиримой. Поэтому, естественно, я не мог оставаться в Восточной Сибири до Октябрьской революции, не мог примириться с пожизненной ссылкой и лишением всех прав состояния. Я сам вернул себе свободу, сам взял себе право бороться с самодержавием, я бежал из ссылки, оставив там жену и трехмесячную дочку, которая теперь коммунистка, работает на автозаводе в Нижнем Новгороде и, так же как вы, бьется за дело Октября.

Я бежал в начале марта 1905 года в Петербург к своим товарищам-большевикам. Там работал организатором на нескольких заводах, потом переехал в Москву, где меня назначили организатором боевых дружин в Замоскворечье, потом поручили изготовлять оболочки для бомб. Я участвовал в баррикадных боях на Пресне. После подавления вооруженного восстания меня назначили организатором боевых дружин Пресненского и Рогожско-Симоновского районов. Так я проработал, живя под чужим именем, до половины 1906 года.

Тюрьмами, голодовками, жестокими побоями и цынгой, а также непрерывной напряженной революционной работой мое здоровье было подорвано, усилилось кровохарканье, появились кровоизлияния, и я принужден был оставить революционную работу. Я легализировался в ноябре 1906 года на основании манифеста 17 октября 1905 года и уехал в г. Суджу, где моя жена получила место учительницы в гимназии. Лишение всех прав состояния было мне заменено лишением всех особых прав и преимуществ, мне было запрещено выезжать из Суджи, было запрещено служить, зани-

маться торговлей и т. д. За каждым моим шагом следили сыщики и жандармы. Из-за непрерывной слежки моя работа не могла быть продуктивной, то-есть такой, как я бы хотел.

После Февральской революции я был делегирован от рабочих в Суджанский временно-исполнительный революционный комитет. Там я повыкидывал из исполкома помещиков и кулаков, заменив их крестьянами, а после Октябрьской революции внес в Суджанский революционный совет письменный проект об организации «Суджанского уездного совета народных комиссаров». Мой проект был принят, а я сам был на уездном съезде рабочих и крестьянских депутатов избран комиссаром труда. Во время эвакуации советской власти из Суджи на ст. Готня я оставался в г. Судже, и белогвардейцы во главе с офицером Шкодниным хотели меня повесить, о чем давали телефонограмму в г. Рыльск. Но сделать этого им не удалось. Перед самым приходом немцев я бежал, вернулся в Суджу в сентябре. Но на меня донесли, я был схвачен гайдамаками, подвергался побоям, и меня союз хлеборобов, состоявший из помещиков и кулаков, приговорил к расстрелу. Ввиду начавшейся революции в Германии и ухода германских солдат приговор не был приведен в исполнение, и меня выпустили из тюрьмы.

Деникинцы судили меня военнополевым судом как организатора советской власти в Суджанском уезде и хотели повесить, но наша Красная Армия так быстро начала гнать белых, что они забыли про всех пленных комиссаров, и им впору было только спасать свою шкуру. Я остался жив, но деникинцы тоже меня не щадили и выпустили из своих рук полным инвалидом.

Я все же использую остаток своих сил, — меня избрали членом президиума районной контрольной комиссии ВКП(б), а потом я являюсь членом правления гончаровского колхоза «Красный Октябрь», бьюсь за организационно-хозяйственное укрепление колхоза, за выполнение хлебозаготовок на 100 процентов и готов отдать свою жизнь за каждый лишний центнер хлеба, который так необходим государству для строительства социализма.

Моя мать жива, ей 82 года, и она живет в рабочем поселке завода «Красная Этна», в Нижнем Новгороде. Она безбожница, она, как и вы, борется за дело Октября. Это она помогала нам в нашей революционной работе, это она возила прокламации из Нижнего Новгорода в Иваново-Вознесенск, когда там была стачка, это она привезла в Сормово красные знамена в ведрах, прикрыв их кислой капустой.

Когда везла прокламации в Иваново-Вознесенск, то в поезде нарочно села рядом с жандармами и всю дорогу вела с ними разговоры; когда везла знамена в Сормово, то также разыскала в поезде жандарма, ехала с ним рядом, втерла ему очки, и ее не обыскали. В 1905 году она приехала ко мне в Москву и не побоялась жить с организатором боевых дружин, которому грозило повешение, не дрожала от того, что ей самой грозила смерть как соучастнице, и сумела обставить мою семейную жизнь так, что ни у кого не возникало ни малейших подозрений. Почти каждый год она ко мне приезжает на месяц или на полтора, вспоминает старое, радуется тому, как удачно оставляла в дураках жандармов, а то всхлипнет, когда вспомнит, что мне грозила смерть во время тюремной голодовки, когда я отказался не только от пищи, но и от воды. Она бегала в тюремную больницу, куда меня увезли из тюрьмы, и ей тюремный доктор сказал, что если бы привезли на полчаса позднее, то спасти жизнь было бы уже невозможно. Она еще бодра, и здоровье у нее лучше, чем у меня.

Вот я ответил на все ваши вопросы, дорогие товарищи, и хочу сказать вам несколько слов.

Таких, как я, миллионы, но все мы были ничтожными и жалкими рабами, пока не познакомились с учением величайших вождей пролетариата — Маркса, Энгельса, Ленина. Только их учение налило наши мускулы сталью, только их учение превратило нас в непримиримых бойцов за генеральную линию партии. Они умерли, но их дело живет...

Мы с вами, товарищи, должны еще больше усилить темпы строительства социализма, а для этого необходимо, чтобы все трудовое крестьянство в целом созна-

тельно переключилось на усиление этих темпов, и тогда мы будем двигаться к социализму со сказочной быстротой.

Я ответил на ваши вопросы, дорогие товарищи. Теперь я спрашиваю вас: что сделали и что делаете вы для социалистического строительства и скорейшей победы дела Октября? Ответьте мне на все это через газету «Колхоз».

Шлю вам горячий коммунистический привет, дорогие товарищи.

27/II 1931 г. П. Заломов

ИЗ ПИСЬМА П. А. ЗАЛОМОВА 7-му КЛАССУ „В" 382-й ШКОЛЫ СОКОЛЬНИЧЕСКОГО РАЙОНА МОСКВЫ

Мои юные дорогие друзья!

Не было и нет в мире ничего более великого, более прекрасного, более могучего, чем величайшие идеи марксизма-ленинизма. Для первого поколения рабочих-большевиков борьба за победу этих идей была и осталась высшим счастьем, высшим смыслом жизни.

Да, жизнь рабочих при царизме и капитализме была угнетающе тяжела. Мы были только придатками машин, кующих деньги для капиталистов, или сами были машинами.

При жизни отца я был обеспечен простой грубой пищей и не знал, что такое голод. После смерти отца наступило хроническое недоедание, и мне приходилось есть с помоек заплесневелые корки, от которых отказывались свиньи. Благодаря недостаточному, неполноценному питанию мой организм был ослаблен, и я перенес почти все инфекционные болезни.

Как и все, вы смешиваете Павла Власова с Петром Заломовым, но Петр Заломов является всего лишь прообразом Павла Власова. В 1905 году Алексей Максимович Горький составил по моим рассказам заметки, но последние были у него отобраны при обыске, и свою повесть «Мать» он писал по памяти, силой своего художественного таланта.

Я стал рабочим в пятнадцать лет, и моя жизнь действительно стала беспросветной, мучительной, бессмысленной. Я мечтал о самоубийстве, и только мысль о матери удерживала меня в числе живых рабов капитала.

Только в силу резких контрастов постигается счастье жизни, и я узнал это счастье лишь после того, как прочитал и понял своим мозгом и сердцем «Коммунистический манифест» Маркса и Энгельса, понял всю красоту, все величие коммунистического общества, понял великое счастье борьбы за это общество.

Только после усвоения «Коммунистического манифеста» спала пелена слепоты с моих глаз, я вновь родился уже по-настоящему, *и жизнь моя стала лучезарно прекрасной.* Нет в мире счастья выше, чем борьба за коммунистическое общество, и нет смерти прекрасней, чем смерть за мировую коммуну!

Как старый большевик-рабочий я буду говорить с вами откровенно, тем более, что иначе говорить не умею. Все вы мне близки и дороги, как будущие бойцы за мировую коммуну, но впечатление от вашего письма получилось у меня очень тяжелое.

Римская чернь рукоплескала уцелевшему в кровавой бойне гладиатору, вы готовы рукоплескать Павлу Власову — герою повести Максима Горького «Мать».

А вы-то сами! Кто вы? Бойцы за мировую коммуну или слепорожденные рабы?

Вы пишете, что вам даны все возможности для учебы и вместе с тем сообщаете, что в вашем классе *несколько* (!!!) хороших учеников.

Выходит, что гора родила мышь!

Где ваши отличники? Где ваша борьба за учебу на «хорошо» и «отлично»?

...Наука — это вертикально поставленная лестница, каждую ступень которой можно одолевать только *с полным напряжением всех своих усилий, но не играючи,* подобно новорожденному младенцу, который пускает губками пузыри.

Вы должны, вы обязаны выучивать и усваивать весь учебный материал прочно и полностью, без всяких перерывов и прорывов.

Борьба за учебу на «хорошо» и «отлично» — это не детская игра, а величайшее дело, необходимое для построения коммунистического общества в СССР, для завоевания мировой коммуны.

Вас всех ждет великая работа, и чем лучше усвоите вы науку, тем плодотворнее будут результаты вашей работы, тем легче будет вам работать, тем больше будете вы испытывать огромное наслаждение своей работой.

Шлю вам свой коммунистический привет!

[*1938 г.*] Ваш дедушка

П. А. Заломов

ОТЦОВСКИЙ НАКАЗ МОЛОДЕЖИ *

Юные друзья мои!

Вы третье поколение сормовичей. По возрасту вы мои внуки. Выслушайте же мой наказ.

Сормович — это гордое слово. Называться сормовичем — большая честь. Это значит принадлежать к старейшему и передовому отряду русского рабочего класса.

Знаете ли, ребята, как ваши деды устраивали стачки, забастовки, как выходили они на революционные демонстрации? Вот здесь, по соседству с главной проходной, где сейчас стоит школа, в пятом году рабочие дрались на баррикадах. В цехах, где вы сейчас работаете, во время гражданской войны по заказу Ленина делались первые русские танки. На броне первой машины рабочие сделали надпись: «Боец революции тов. Ленин». Стоявшие в затоне буксиры покрывали броней, ставили на них пушки, — это готовились суда для Волжской флотилии **.

---

* Запись беседы с молодыми рабочими, проведенной П. А. Заломовым в одном из цехов завода «Красное Сормово» в конце октября 1942 года по приглашению заводского комитета комсомола. Опубликована в газете «Комсомольская правда» № 258, 1 ноября 1942 года.

** Волжская вооруженная флотилия, действовавшая на реках Каме, Белой и Волге против белых, создана на Волге в 1918—1919 годах главным образом из мощных буксиров.

Отсюда, из Сормова, в ноябре 1917 года уезжали красногвардейцы в Москву драться с юнкерами, отсюда отправлялись рабочие полки на все фронты гражданской войны.

Слава о революционном Сормове гремела на всю Россию. Великий Ленин обращал сюда свои взоры, руководил нашей борьбой.

Гордитесь, ребята, тем, что вы дети коренных пролетариев, в ваших жилах кровь потомственных сормовичей. Помните об этом всегда и будьте достойны своих отцов и дедов.

Русского рабочего всегда отличали любовь к своей родине, верность делу своего класса, братская солидарность, настойчивость, вера в свои силы, способность к преодолению любых трудностей и воля к победе. Перенимайте эти качества и развивайте их.

Много трудностей было на пути у моего поколения. Вся Россия стонала под царским сапогом. Вздохнуть не давали свободно. На каждом шагу — полицейские, по улицам шпики шныряли, вынюхивали «крамолу». Слова сказать нельзя было.

На заводах за копейку жизнь отдавали. А иного выхода не было, иначе подыхай с голоду.

Тяжело жилось рабочему-сормовичу в проклятое царское время. Голодно, холодно было в убогих домишках, разбросанных по Большим и Малым Канавам, Мышьяковкам и Варихам *.

Недаром у нас пели тогда:

Сормовска больша дорога
Вся слезами залита...

Рабочая слободка Сормово была точь-в-точь такой, какой описал ее Максим Горький.

«Каждый день над рабочей слободкой, в дымном, масляном воздухе, дрожал и ревел фабричный гудок, и, послушные зову, из маленьких серых домов выбегали на улицу, точно испуганные тараканы, угрюмые

* Большой и Малой Канавой Петр Андреевич называет улицы Сормова Старую и Новую Канаву. Мышьяковка и Вариха — деревни, слившиеся с Сормовом.

люди, не успевшие освежить сном свои мускулы... Грязь чмокала под ногами. Раздавались хриплые восклицания сонных голосов, грубая ругань зло рвала воздух...

Вечером... фабрика выкидывала людей из своих каменных недр, словно отработанный шлак, и они снова шли по улицам, закопченные, с черными лицами, распространяя в воздухе липкий запах машинного масла, блестя голодными зубами».

Вспоминаю я свое детство. Семья у нас была большая: кроме меня, семеро детей. На старого дедушку смотрели как на обузу.

Мой отец зарабатывал в месяц рублей пятьдесят. Приходилось бедствовать. Бывало мать сварит горшочек кашицы, подаст на стол, мы съедим и опять не сыты. Мать — в слезы.

Когда мать уходила за делом, мы оставались одни. Гуляли по улицам в одних рубашках и босиком. Вернувшись домой, мы просили у старшей сестры хлеба. Она нам говорила: «Мама ушла, хлеба нет, да и денег нет».

Мне было семь лет, когда отец умер от ядовитых газов. Было ему 38 лет. Двадцать пять лет он проработал на заводе.

Вскоре после смерти отца меня отдали в мастерскую учеником слесаря. Приходилось вставать в четыре утра, а домой возвращаться поздним вечером. Целый день поэтому хотелось спать. Во время перерыва я садился около тисков на ящик из-под свечей и, уткнув голову в колени, мгновенно засыпал. Мускулы ныли от непосильной работы, руки казались покрытыми сплошными нарывами. Нередко при обрубке гаек молоток срывался, и руки мои покрывались кровью. Но в заводскую лечебницу с этим не ходили; я засыпал кровоточащие места толченым мелом, завязывал грязной, промасленной тряпкой и продолжал работу.

Заводская обстановка производила удручающее впечатление. Рабочего оскорбляли на каждом шагу. Мастер ругался всяческими словами. Нередко нас, учеников, били, да и не только учеников. Однажды мастер палкой избил литейщика. В другой раз мастер заставил седого старика делать с палкой ружейные приемы.

Нас, подростков, мастер заставлял в ноги ему кланяться.

— Я вам богом поставлен, — говорил он.

Нередко люди становились калеками или погибали, как мой отец. При мие двое мастеровых остались без глаз, выжженных огненными стружками. Мехаиик заставлял нас рукой на ходу надвигать ремеиь на шкив.

Работа отнимала все силы. В семнадцать лет я обнаружил, что не могу делать быстрых движений, задыхаюсь, не могу даже танцевать. Мои ноги стали кривыми, спина согиулась, грудь стала впалой.

Такую жизиь нельзя было терпеть. В пятнадцать лет я стал участвовать в революциониом движении. С тех пор я и мои товарищи твердо шли к намеченной цели, ие сворачивая со своего пути.

Находились люди, которые сомневались в нашей победе. Оии говорили:

— Помилуй бог, разве нам справиться с такой силой? У царя армия, жандармы, полиция. Фабриканты и помещики все заграбастали. У них прислужников не счесть. Можио ли бороться с царем? Он триста лет правит.

Но так думали не все. С каждым годом все больше рабочих включалось в революционное движеиие. В 1894 году в местечке Слуда, в четырех километрах от Нижиего Новгорода, была первая маевка. В следующем году маевка собралась на Моховых Горах, и была она более миоголюдиой. На третью маевку сошлись за Волгой, против Сормова. Первомайские сходки сормовичей происходили ежегодно. В 1899 году рабочие устраивали стачку. 1 мая 1902 года в Сормове состоялась многолюдная революционная демонстрация. На Главной улице собралось более пяти тысяч человек. Пели революционные песни.. Раздались крики: «Долой царя!» Впереди с большим зиамеием шел я. На красном полотиище было написаио: «Долой самодержавие!» За мной братья Барановы несли еще два знамени.

Шли мы по направлению к Дарьинской проходной и пели «Варшавянку». Вдруг раздался барабанный

бой. Из переулка вышла рота солдат. Мы продолжали итти вперед, безоружные против вооруженных. Офицер скомандовал: «Ружья на руку!» Мы все шли и пели. Ни один товарищ не покинул рядов.

Уже дошли мы до ручья, пересекавшего улицу, когда солдаты со штыками наперевес бросились на нас. Кто-то потянул мое знамя к земле. Я крикнул: «Я не трус!» и с высоко поднятым знаменем перепрыгнул через ручей и пошел на приближающиеся штыки.

Но ни один штык меня не коснулся. Рота остановилась без команды. Штыки поднялись кверху. Потом раздалась какая-то команда...

Очнулся я в тюрьме. Били, пытали. Потом состоялся суд, приговорили к вечному поселению. Сослали в Восточную Сибирь, откуда бежал.

Сормовичи всегда шли в первых рядах своего класса. В декабре 1905 года они покрыли Сормово баррикадами. Своими руками они сделали пушки и смело встретили царское войско. Несколько дней длился бой. Баррикады покрылись кровью. Сормовичи защищались до последнего дыхания.

И после подавления вооруженного выступления сормовичи не сдались. Они продолжали борьбу, устраивали забастовки, политические демонстрации.

И когда в октябре 1917 года сюда докатилось известие о революции в Петрограде, сормовичи поднялись как один. Они устанавливали советскую власть в своем районе, в Канавине, в Нижнем Новгороде, в Нижегородской губернии. Они дрались с белогвардейцами, подавляли эсеровско-кулацкие мятежи, помогали москвичам устанавливать советскую власть в столице.

Сильно опустело в эти годы родное Сормово. Рабочие ушли на фронты, они дрались с Колчаком и Деникиным, защищали Царицын и Петроград, участвовали во взятии Перекопа и в сражении под Каховкой. Особо отличалась в боях за родину так называемая «Шестая сормовская комсомольская лихая рота».

Оставшиеся в Сормове рабочие день и ночь готовили вооружение для молодой Красной Армии.

Голодно и холодно было в Сормове в эти годы. Дома стояли нетопленными, в цехах гулял ветер. На день

давали осьмушку хлеба. Обуться было не во что, пальцы выглядывали из сапог.

Враг приближался. Белые захватили Казань. По Волге плавали их корабли.

Положение было очень тяжелым. Но разве кто пал духом, разве у рабочих опустились руки, разве они потеряли веру в победу? Нет! Сормовичи сжимали зубы и подтягивали ремни. Они все ожесточеннее работали для фронта. И они добились победы.

Веру рабочего класса в свои силы неустанно крепила большевистская партия. Могли ли мы победить, если бы не верили в свои силы, не напрягали всю энергию, не использовали всех возможностей? Конечно, нет. Сила рабочего класса в том, что он не боится трудностей и умеет их преодолевать.

Мы завоевали вам счастье. Вы узнали золотую пору детства, нужда неведома вам. Родина заботливо растила и воспитывала вас. Все лучшее, что у нас есть, было ваше: парки, дворцы, школы.

Сормова не узнать. На месте хибарок выросли многоэтажные дома. Там, где стояли кабаки, разбиты сады и парки, выстроены замечательные школы, театры, дворцы. Все это — ваше достояние.

Чтобы сберечь эти завоевания, наши товарищи сейчас дерутся с немецкими захватчиками. Сормовичи дерутся и в Сталинграде, и под Воронежем, и в районе Моздока. Снова льется рабочая кровь. Сормовичи не на жизнь, а на смерть дерутся со своими заклятыми врагами — фашистами.

Снова нас хотят сделать рабами. Не выйдет! Немцы хотят поставить на улицах гестаповцев. Хватит! Навидались мы жандармов.

Много страшного видел я в годы царизма: били меня в тюрьмах, пытали, в Сибирь ссылали, трижды приговаривали к смертной казни. Но жить под гитлеровцами страшнее. Нет таких мук, которым не подвергли бы они советского человека. Помните об этом всегда! И пусть ваши юные сердца зажгутся ненавистью к проклятым захватчикам-фашистам. Пусть ненависть даст вам новые силы, чтобы руки ваши не знали усталости в труде для фронта.

Сейчас, когда ваши отцы и старшие братья ушли на фронт, выросла ваша ответственность. Вы хозяева производства и отвечаете за родной завод.

Я, старый сормович, даю вам отцовский наказ: свято храните революционные традиции русского рабочего класса! Будьте достойными продолжателями дела своих старших товарищей.

Трудитесь так же самоотверженно, как трудились ваши отцы в годы гражданской войны, стойко переносите лишения, смело преодолевайте трудности.

Работайте по-стахановски, будьте мастерами своего дела! Рабочий любит свое дело, гордится своей профессией.

Не отставайте от товарищей. Если ты сегодня сработал меньше соседа, тебе должно быть стыдно. Неужто ты хуже его? Покажи, что это не так. Завтра обгони соседа!

Про искусного мастерового в старину говорили: «Это мастер на все руки». Надо, чтобы и у вас была рабочая сноровка, уменье работать на всех операциях в своих цехах.

Будь трудолюбив, дорожи каждой минутой на производстве. Не будь неряхой! Береги свой инструмент— это твое оружие. Работай на славу, выполняй свои обязательства. Рабочий ценится за дело, за уменье, а не за красивые слова.

Если у тебя что-нибудь не ладится, не отступай. Помни пословицу: «терпение и труд все перетрут».

Помогай товарищу. Видишь — у соседа что-нибудь не так, помоги непременно, дай совет, покажи на деле, поделись своим опытом. Если кончил работу раньше товарища, помоги ему быстрее справиться с заданием. В следующий раз он тебе поможет. Взаимная выручка — великое дело. Сила рабочего класса в солидарности.

Слушайте, друзья мои, стариков. Уважайте своих старших товарищей. Присматривайтесь, как работают старые производственники, прислушивайтесь к их голосу, перенимайте их опыт.

Вот вам советы старого русского рабочего.

Помните, ребята, война идет суровая. Она не ща-

дит слабых, не прощает ошибок. На войне нельзя медлить. Если ты во-время не выстрелишь, враг выстрелит раньше. Это касается и вас, друзья! Своей работой для фронта вы участвуете в победе. Если ты не выполнишь норму, завод не даст фронту всего, что нужно. Без винтика и пушка не стреляет и самолет не летит.

Друзья мои! Родина поставила вас у станков, а это ведь тоже боевой рубеж. Каждый точный удар молота бьет без промаху в сердце врага. Чем больше деталей сделает каждый из вас за смену, тем крепче он ударит в этот день по фашистам. Работайте так, чтобы фронтовики в день 25-й годовщины Октября сказали вам: «Спасибо!»

А мы, старые рабочие и большевики, скажем: «Вот достойные преемники наших революционных традиций! Сыны наши и дочери, мы гордимся вами!»

СОДЕРЖАНИЕ

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ „МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“ ВЫШЛИ В 1955—1956 ГОДАХ СЛЕДУЮЩИЕ ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННЫЕ КНИГИ:

Воспоминания о Ленине, 215 стр., цена 4 руб.

Молодежи о первой русской революции. 280 стр., цена 9 р. 75 к.

М. Васильев-Южин. В огне первой революции, 128 стр., цена 1 р. 45 к.

М. Ольминский. В тюрьме. 168 стр., цена 1 р. 95 к.

М. Новоселов. И. В. Бабушкин, 368 стр., цена 6 р. 75 к.

М. Новоселов. Н. Э. Бауман, 248 стр., цена 5 р. 60 к.

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:

Н. Нечволодова и Л. Резниченко. Юность Ленина.

Ф. Дзержинский. Дневник и письма.

К. Т. Свердлова. Яков Михайлович Свердлов.

Г. Черепахин. Годы борьбы.

А. Тайми. Страницы пережитого.

И. Козлов. Жизнь в борьбе.

А. Неволин. Здравствуй, «Аврора»!

СЕМЬЯ ЗАЛОМОВЫХ
Составитель-редактор сборника
Н. Бирюков

Редактор *З. Коновалова*
Обложка *И. Незнайкина*
Титул и рисунки *Б. Зеленского*
Худож. редактор *Н. Коробейников*
Техн. редактор *Л. Волкова*

А05801 Подп. к печати 19/IV 1956 г.
Бумага $84 \times 108^1/_{32}$ = 3,25 бум. л. =
=10,66 печ. л.+1 вкл. Уч.-изд. л. 10,2
Заказ 383 Тираж 100 000 экз.
Цена 4 р. 70 к.

Типография «Красное знамя»
изд-ва «Молодая гвардия».
Москва, А-55, Сущевская, 21.

70 к.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ